Борис
Васильев

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
•
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Собрание сочинений Б.Васильева

Борис Васильев

Утоли моя печали. Отрицание отрицания

«ВЕЧЕ»

1997, 2004

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2)

Васильев Б. Л.

Утоли моя печали. Отрицание отрицания / Б. Л. Васильев — «ВЕЧЕ», 1997, 2004 — (Собрание сочинений Б.Васильева)

ISBN 978-5-4484-5235-2

В основе романа «Утоли моя печали» – Ходынская трагедия, унесшая не одну сотню жизней. Жуткая давка, возникшая на коронационных торжествах, стала мрачным предзнаменованием грядущих несчастий для династии и государства. В самом центре столпотворения оказывается и героиня романа Наденька Олексина… Действие романа «Отрицание отрицания» охватывает период с революции 1917 года до Великой Отечественной войны. Герои книги – члены большой дворянской семьи Вересковских. Каждый из них выбрал свой путь: кто-то стал жертвой террора, кто-то его проводником. Дети разбрелись в разные стороны, родители потеряли их след. «Страной отрицания» называет Россию известный писатель, пытаясь найти истоки ее судьбы в далекой и близкой истории.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2)

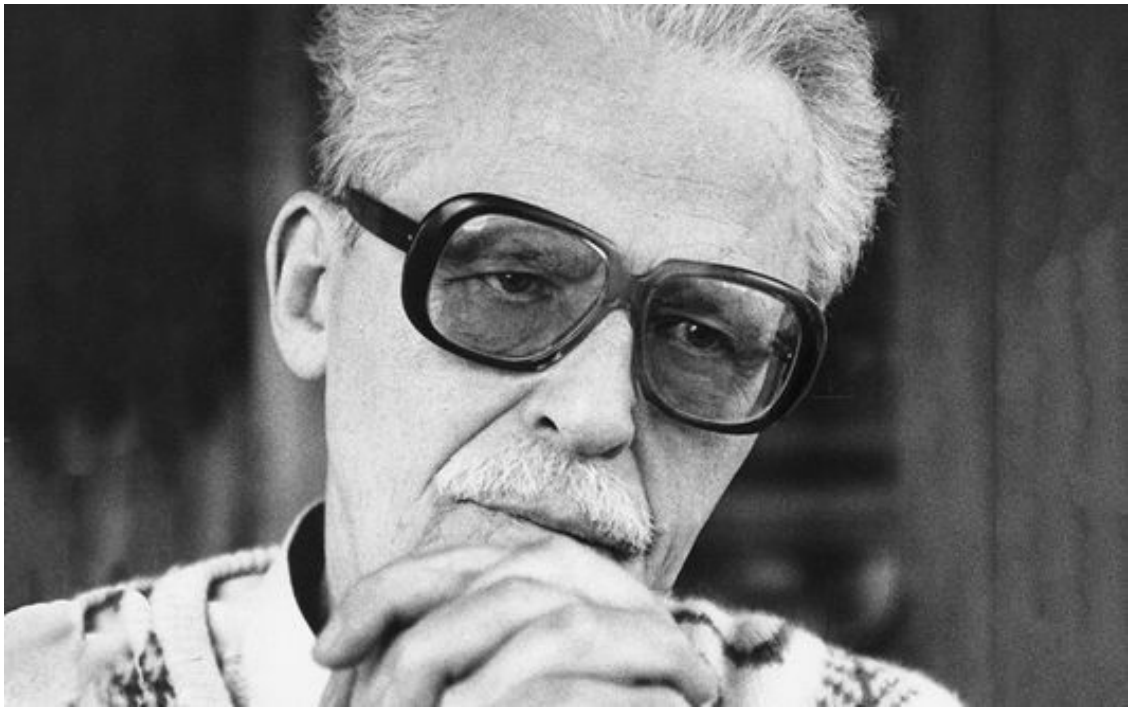
ISBN 978-5-4484-5235-2

© Васильев Б. Л., 1997, 2004
© ВЕЧЕ, 1997, 2004

Содержание

Утоли моя печали 6
Глава первая 6
Глава вторая 21
Глава третья 37
Глава четвертая 49
Глава пятая 59
Глава шестая 68
Глава седьмая 79
Конец ознакомительного фрагмента. 89

Борис Львович Васильев
Утоли моя печали



БорисВасильев
(1924–2013)

© Васильев Б.Л., наследники, 2025
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2025

Утоли моя печали

Глава первая

1

– Ну как, Наденька, прошел первый день в гимназии? – спросил Роман Трифонович сестру жены. Втайне он считал девочку своей воспитанницей. – Какие сделала открытия?

– Открытие одно, но зато огорчительное, – очень серьезно ответила восьмилетняя гимназистка.

– И что же тебя огорчило?

– Нам задали выдумать пример на сложение. Все девочки складывали яблоки, конфеты или плюшевых зайчиков с куклами, а я, дядя Роман, взяла да и сложила всех своих пятерых братьев и одну сестру. Знаешь, сколько им всем вместе лет? Сто сорок три года ровнёхонько, можешь себе представить? А потом, когда я разделила общую сумму на свои восемь лет, получилось, что семья старше меня в семнадцать с половиной раз. В семнадцать с половиной! Это же ужас какой-то…

Наденька была так потрясена собственным открытием, что тяжело вздохнула и угнетенно покачала головой. А Роман Трифонович с трудом спрятал улыбку.

– И как же оценили твой титанический труд?

– Меня похвалили и поставили «пять», но я все равно очень и очень расстроена.

– Отчего же, Надюша?

– Как же трудно быть младшей в большущей семье, если бы ты только знал, дядя Роман! В семнадцать с половиной раз труднее, чем обычной девочке с одним братом.

– И в самом деле. – Хомяков удивленно пожал плечами. – Как же теперь быть?

– Надо поступать по-своему, вот и все.

Наденька и впрямь оказалась самой младшей во всей рано осиротевшей семье Олексиных – даже Георгий родился на четыре года раньше, хотя остальные братья и сестры были погодками. И явилась-то Наденька на свет нежданно-негаданно, получив все шансы стать балованной игрушкой для всей огромной семьи, если бы не чреда последовавших трагедий.

Наденьке исполнилось всего два года, когда внезапно скончалась мама. Умерла вдруг, мгновенно, упав лицом в грядку, которую так упрямо любила полоть на рассвете. Умерла одна, а осиротели все одиннадцать: десять детей и отец, оставшийся без нежного всепрощения и преданной негромкой любви. А через год, защищая честь девушки, на дуэли погиб брат, портупей-юнкер Владимир. За ним вскоре последовал отец, потрясенный и этой потерей, и сообщением, что его тайная гордость и надежда старший сын Гавриил Олексин угодил в турецкий плен, сражаясь за свободу Сербии. Из того плена Гавриил бежал сам, а вот из плена собственной чести убежать не смог и пустил себе пулю в сердце, не пожелав разделить с императором Александром Вторым политического предательства болгарского народа. А спустя два года сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфимского губернатора. Только в тот морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба уже была приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора…

Так уж случилось в их семье: пять смертей за четыре года. Но семейные трагедии Наденьку в общем-то пощадили. И потому, что она была еще очень мала, и потому, что старшие

берегли ее, как могли и умели. Для них Наденька навсегда осталась маленькой: обстоятельство, способное беспредельно избаловать натуру бездеятельную, но вселяющее непреодолимую потребность доказательств самостоятельности в натуре активной и весьма самолюбивой.

Из десяти братьев и сестер в живых осталось семеро, и шестеро из них покинули родимое гнездо. В родовом имении Высоком теперь жил только Ваня, ныне – Иван Иванович, с успехом закончивший Петербургскую «Техноложку» сразу же после русско-турецкой войны. Он получил весьма выгодное казенное место в Варшаве, но затем ушел со службы из-за трагедии уже личного свойства. Служил землемером при Ельнинской управе, учительствовал, а выезжал редко и, как говорили, начал попивать.

А воспитывала Наденьку старшая сестра Варвара, супруга миллионщика Романа Трифоновича Хомякова. Впрочем, она всех воспитывала, кроме Гавриила да, пожалуй, Василия, но всех – со строго сведенными бровями, а Надю – с улыбкой, просто потому, что Наденька попала в ее властные руки еще во младенчестве. Дело в том, что Варвара внушила себе сразу же после кончины маменьки, что ответственна за семью отныне и навсегда, что это – ее крест, и несла этот добровольно принятый крест с достоинством, но не без гордости. Она обладала редким даром не предлагать помощь, а – помогать. Подставлять плечо под чужую ношу как-то само собою, без громких фраз, а тем паче – просьб. И когда ее единственная любовь – обобранный сановными казнокрадами Роман Трифонович Хомяков (еще в ту войну, двадцать лет назад!) явился к ней в Бухарест без копейки, сказав, что отныне она свободна от всех своих слов и обещаний, Варя не оставила его, не бросила одного в чужой стране и в чужом городе. Не просто потому, что любила, любила не по-олексински, не очертя голову, а так, как способна была любить только маменька, одна маменька, простая крепостная девочка – раз и на всю жизнь, до гробовой доски, – но и потому, что вдруг ощутила себя сильнее самого Романа Трифоновича и со счастливым, полным ответственности и надежд сердцем взвалила на свою душу и его судьбу. Тут же сама, не торгуясь, распродала то, на что еще не успели наложить лап вчерашние компаньоны, и увезла Хомякова в спасительное родовое гнездо. В Высокое.

Тихим был тогда повелительно громкий, неутомимо азартный и преданно влюбленный в нее бывший миллионщик. Только глаза ни на миг не угасали:

– Встанем, Варенька, поднимемся. Врешь, нас и с ног не собьешь, и скулить не заставишь!

Заложили имение в селе Высоком, всего-то год назад выкупленное из прежнего, первого заклада тем же Романом Трифоновичем. Переписали заводик племянника на Варю, продали в Москве отцовский дом и все драгоценности – свои и маменькины, – купили задешево, по случаю, большую партию хлопка у разорившегося поставщика – сработали старые связи и прежние миллионные обороты удачливого доселе предпринимателя Хомякова – и лишь тогда Роман Трифонович предложил Варе не только любящее сердце, но и супружескую руку.

– Раньше не мог, права не имел, ты уж прости меня. А за веру в меня и терпение твое я тебе такой дворец отгрохаю, что на наши вечера и великие князья в очередь записываться будут.

Обвенчались в старинной церкви села Уварова: мама очень любила эту тихую церковь, и Варя выбрала ее для самого счастливого дня своей жизни. Гостей было немного, только родные, но Варю это не огорчило. Она была на седьмом небе, да и Роман Трифонович прочно становился на ноги.

– Придется, Варенька, нам в мой городишко перебираться, в старый дом, – сказал он вскоре после свадьбы. – К фабрикам поближе: им глаз да глаз нужен, дела в гору пошли.

К тому времени уже тихо отошла тетушка Софья Гавриловна, в их московском доме всем заправляла верная Дуняша, а Высокое можно было оставить без особых тревог на Леночку. И Хомяковы уехали к своим во все трубы дымящим заводам.

2

О Леночке Надя знала только то, что ее в последнюю войну спас Иван, а Маша переправила смертельно перепуганную девочку в Высокое. Только это, и ничего более. Никаких подробностей никто и никогда ей не сообщал, да Надя и сама не расспрашивала, сразу влюбившись в черноглазую гречанку, упрямо осваивающую русский язык. Была в Леночке какая-то притягательная тайна: она почти никогда не улыбалась, а в присутствии своего спасителя Ванички Олексина странно замыкалась, внутренне мучительно съеживаясь. Это, впрочем, не помешало ей стать хорошей заменой Варваре: она помнила и знала, что, как и в каком порядке следует делать в имении и, не обладая Вариной непререкаемой волей, восполняла ее неустанным вниманием. От ее огромных темных глазищ никогда ничего не ускользало, напоминания были тихими, точными и на редкость своевременными, и к ее голосу все почему-то стали вдруг прислушиваться.

«Очаровательная книга приходов и расходов» – так определил ее Георгий, к тому времени уже юнкер Александровского училища. И попытался было за нею приволокнуться, но получил от Ивана такую отповедь, что тут же и угомонился…

Наденька любила листать семейный альбом и вспоминать детство. С толстых глянцевых паспарту на нее смотрели добрые, умные, юные лица ее братьев и сестер – живых и уже покойных. Нет, не покойных. Беспокойных погибших.

«Олексины не умирают в постелях», – говорил отец. Она не помнила его, но ясно представляла по рассказам. Отставной гвардейский офицер, богатый помещик, родовитый дворянин, до безумия влюбившийся в крестьянскую девочку. Настолько, что, презрев свет и все его условности, обвенчался с нею, заперев самого себя в гордыне полного одиночества. Никуда не выезжал, никого не принимал, ни с кем не приятельствовал и никого не признавал, кроме своей Анички и овдовевшей сестры Софьи Гавриловны. И мама любила его таким, каков он был, в любви и нежности родив ему десять детей: семь мальчиков и трех девочек. И она, Наденька Олексина, завершила эту мамину щедрость.

Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли…

А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорогую частную гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день – два раза по получасу – занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай – к тому времени уже юнкер – сказал:

– Гимнастика – тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».

– А зачем женщинам воля? – Наденька безмятежно пожала плечиком. – Женская сила в нежности.

– Воля – основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.

До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.

– Это у него от мамы, – говорила Варвара. – Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственна, как сама природа.

Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но… Все в нем сгорело, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался после этого. Стал попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван – тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».

Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем вообще избегали говорить в семье, и она понимала почему. Федор Олексин определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.

– Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?

Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное – даже служба в армии – в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец очень любил повторять старшим – ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:

– Занятия, достойные дворянина, – шпага, крест да книга.

Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь – Георгий и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись за нее, вскоре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.

Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:

– А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.

Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.

Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той Тьмутаракани, где служил, и привез с собою очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:

– Какая безвкусица!

– Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.

– Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке Первопрестольной.

– Фо па[1], господа. Фо па!

А мещаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:

– Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!

Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в Первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем

[1] Напрасно, зря (*фр.*).

удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю жизнь, а ее родители – тяжкое ощущение вины.

А крест, о котором говорил отец, как о достойном дворянина занятии, достался Василию. Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.

– Понимаешь, церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.

Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание и, зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной стороны:

– А зачем Бог, когда все пружины заведены?

– Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.

– Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь – это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.

– Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, – улыбнулся Иван.

Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем исхудалом лице.

А вот с книгой – в отцовском понимании – никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.

3

– А он что сказал?

– А он так посмотрел, так посмотрел!

Все девичьи интересы вертелись вокруг «что сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже. Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.

Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении, и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное – там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.

– Ах, как это забавно! Право, забавно!

А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.

– Как вам нравится «Манон Леско»?

– Неопределенно, мадемуазель.

– Помните, там…

– Извините, не помню. И позвольте откланяться.

И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал. Ни разу. Причем не катал именно «Он» – другие катали. Но другие, они другие и есть.

Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.

Вечер был теплым, комары кусались как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать – все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.

Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это – приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.

– Надя!.. Наденька!..

– Мадемуазель Надя!..

Надя терпела, пока возле ее куста не оказался «Он». Тогда воскликнула: «Ах!..» – и вывалилась прямо к его ногам.

– Боже, вы – мой спаситель!..

А спаситель, вместо того чтобы нежно поднять ее с земли, отскочил в сторону и стал кричать. Как паровоз:

– Тут! Тут! Тут! Тут!..

На другой день Наденьку отправили в Москву, но она не долго расстраивалась. Както очень просто и быстро поняла, что подобные забавы не для нее, что в них она успеха не добьется и, следовательно, нужен иной путь для самоутверждения. Не общий для всех девочек, а – личный. Путь Надежды Олексиной, а не истоптанная вседевичья дорога. И вскоре нашла этот свой, особый путь.

– Но высший балл за домашнее сочинение «Мотивы Чарльза Диккенса в творчестве раннего Достоевского», как всегда, у Надин Олексиной, – почти торжественно начал вскоре провозглашать преподаватель русской словесности Константин Фролович Березанский.

А тет-а-тет убеждал:

– У вас явные способности к сочинительству, мадемуазель Олексина. И, как ни странно для вашего возраста, к прозе, а не к поэзии. Но прозе поэтической. Трудитесь на этом поприще, испытайте его. Оно потребует много труда, может быть, столько, сколько не требуют иные сферы приложения духовных сил, но я верю в вас, Надин.

Надя много писала в последних классах гимназии. Девочки тоже писали, но – стихи, и непременно читали их вслух, а потом переписывали друг другу в альбомы. Альбомы стихов – собственных и посвященных – были непременным атрибутом женских гимназий, доброй старой традицией закрытых пансионов и институтов, и Наде пришлось-таки сочинить нечто, чтобы не обижать подружек. Но поскольку она не признавала рифм вроде «пошел – нашел» или «грозы – морозы», а искать новые не было времени, то и обошлась белыми стихами. Это произвело впечатление, и стихи старательно переписывали в каждый девичий альбом, особенно восхищаясь заключительными строками:

А соцветия черемух,
Точно гроздья винограда…
Может, лучше: «Винодара»?
Ведь вино надежды дарит.
Май в кипении черемух!..

Но альбомные стихи и оставались альбомными, а потому Надю удовлетворить не могли. Да и сочинялись уж очень легко и просто. А проза – трудно и медленно, с бесконечными помар-

ками и переписываниями. И Наденька боготворила прозу, поскольку была самолюбива и жаждала достойной этого самолюбия победы.

В выпускном классе она в одну ночь неожиданно сочинила рождественскую сказку про бедного мальчика, потерявшего шапку в лютый мороз. В изначальном варианте мальчику помогла добрая фея, но через неделю Надя решительно сожгла в камине свое первое творение, никому, к счастью, его не показав. И трудно, с бессонными ночами, слезами и напряжением до головной боли переделала благостную сказочку в суровый рассказ. Как загулявшие бездельники на пари на всем скаку кнутом сбили с мальчика шапку. Как мальчик бежал за ними, умоляя вернуть эту шапку, на беду свою попал в незнакомые богатые кварталы, где за каждым окном сверкали нарядные елки, а вокруг весело и беззаботно танцевали сытые карнавальные маски, и мальчик напрасно искал между ними обыкновенное человеческое лицо. Как мальчик, замерзая, робко стучался в равнодушные парадные подъезды, а самодовольные лакеи ругали его и гнали прочь. Как в конце концов он оказался в городском саду и заснул под елью в сугробе. И какой прекрасный рождественский сон снился ему в этой смертной постели. Какой мягкий, нежный, волшебный снег беззвучно сыпался на него всю ночь, и как нашли несчастного мальчика только через три дня, и как все удивлялись доброй улыбке, застывшей на его ледяных устах…

Конечно, Наденька понимала, что за ее плечом незримо присутствовал сам Некрасов: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне…», но найти собственный финал не смогла и в таком виде рискнула показать рассказ Березанскому. И пока он читал, сердце ее стучало так часто и, как ей казалось, так громко, что она чуть не шлепнулась в обморок.

– Позвольте, мадемуазель, взять этот рассказ с собой, – как-то озадаченно, что ли, сказал Березанский. – Здесь есть над чем подумать.

– Сделайте милость, Константин Фролович, – сдавленным голосом еле выговорила Наденька.

– Благодарю вас, Надин. Верну в понедельник непременнейшим образом.

Вероятно, так бы оно и случилось, только от всех трудов и волнений Наденька заболела. Домашний врач определил очень модное в те времена нервное истощение, прописал успокоительное, рекомендовал отдых и даже постельный режим. Варвара тут же уложила в постель, отобрала книги и читала Наде сама. А вечерами ее сменял всегда по горло занятый Хомяков.

К Роману Трифоновичу у Нади было совсем особое, не родственное, что ли, а почти восторженное отношение. Она отлично представляла себе, что Хомяков создал не просто капитал – это не считалось в семье Олексиных каким-то особенным достижением, о котором стоило бы упоминать, – нет, он создал нечто несоизмеримо большее. Роман Трифонович Хомяков создал самого себя практически без всякого трамплина. С нуля. А к подобным людям Наденька относилась не только с огромным пиететом, но с трепетом и восторгом. Вчерашний мужик обладал столь неординарными способностями, столь несгибаемой волей и жаждой триумфа, что, по девичьему разумению, являл собою образец нового «Героя нашего времени». Втайне она мечтала когда-нибудь (разумеется, когда подчинит себе непокорный, как степной аргамак, русский язык и станет настоящей писательницей) написать о нем роман. Иными словами, Роман Трифонович Хомяков уже оказался героем девичьего ненаписанного романа, не подозревая об этом ни сном ни духом. И еще он оказался единственным, кого Надя с детских лет называла дядей. А он сам – единственным, кто звал ее почти по-крестьянски: Надюшей, а не Наденькой, как то было принято в их кругу.

Самая крупная размолвка произошла между ними, когда Роман Трифонович решил отправить сыновей-погодков учиться в Германию, вместо того чтобы подыскать им хорошую частную гимназию в Москве. Варвара умоляла и плакала, плакала и умоляла, а Наденька взорвалась и обозвала Хомякова бессердечным мужланом.

– Насчет мужлана это, Надюша, точно сказано, – вздохнул он. – Только ведь потому и отсылаю, чтобы ребята мои в свой адрес такого слова никогда не слыхали. А здесь – в Москве ли, в Петербурге ли – услышат, да и не раз. Я души их сберечь хочу, потому и от своей и от Варенькиной их отрываю.

И Надя все поняла. Принесла Роману Трифоновичу свои извинения, как могла, утешила Варвару, и погодки Хомяковы уехали в Германию с гувернером и двумя слугами. И в огромном хомяковском особняке опять воцарился мир.

– Русская литература, Надюша, оказала России неоценимую услугу. Она подготовила нас, как плебеев, так и патрициев, к реформам государя Александра Второго. Смелые начинания пошли сравнительно легко только потому, что Россия была готова к ним духовно. Литература приучила дворянство к мысли, что крепостной тоже человек, а простой люд – к пониманию, что дворянин не просто барин с плетью, а такой же русский страдалец, только образованный и в мундире. Поэтому бородачу в сапогах, – Хомяков только так именовал императора Александра Третьего в приватных разговорах, – и не удалось повернуть Россию вспять, а лишь придержать ее развитие. Он, так сказать, взял Россию под уздцы, что сама Россия по своему крестьянскому представлению о строгом барине любит и всегда будет любить.

Как правило, Варя читала Наденьке прозу, а Роман Трифонович – только стихи. Он их очень любил (в особенности Некрасова), знал во множестве.

Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе…

Надя вернулась в гимназию лишь через десять дней: в обществе тогда любили болеть со вкусом. И Константин Фролович Березанский с улыбкой сказал:

– А рассказ «На пари» я верну вам, мадемуазель, в напечатанном виде.

Оказалось, что он показал ее первое творение редактору «Задушевного слова». И через некоторое время Наденька с невероятным торжеством притащила журнал домой. Он был еще не разрезан и хранил в себе необыкновенный, ни с чем не сравнимый аромат свежей типографской краски.

– Вот гонорар, – сказала Надя, высыпав из кулака на стол тринадцать рублей с копейками.

– Прокутить! – воскликнул Хомяков, сияя пуще Наденьки. – Сегодня же! Выбирай ресторан, Надюша!..

– «Эрмитаж»! Там собирается вся богема!

Покатили в «Эрмитаж», а на другой день Хомяков велел скупить сто двадцать пять экземпляров журнала. Одарили всю родню и всех знакомых, а двадцать пять номеров Роман Трифонович оставил у себя и вручал особо приятным ему людям.

– Приемная дочь написала. Жорж Санд растет, господа!

4

На волне этого внезапного успеха, успеха «вдруг», вроде бы ничем не подготовленного, Наденьку понесло со счастливой головокружительной быстротой. Она как-то очень поспешно, но тем не менее первым номером закончила в гимназии (и в аттестате официально отметили, что закончила она именно «первым номером») и с невероятным подъемом принялась строчить рассказы. Ей казалось, что идей у нее – великое множество, что стоит только их занимательно записать – и успех обеспечен. И увлеченно писала то, что ей представлялось идеями, и сама

потащила восемь таким образом сочиненных рассказов по редакциям, ничего, естественно, не сказав родным.

А рассказы не приняли. Где – вежливо, где – резко, не очень церемонясь. Обескураженная Наденька рыдала два дня, наотрез отказалась поехать в Высокое, чтобы развеяться и отдохнуть, и на четвертый день к ней заглянул Роман Трифонович, отменив три очень важных деловых встречи.

– Знаешь, почему это случилось? Потому что ты использовала в своем первом рассказе весь накопленный багаж. Литература – не сюжетики, литература – а русская в особенности – запас идей. А он тобою, Надюша, извини, исчерпан. Новые идеи ты можешь обрести только в жизни или мучительным путем самообразования. Не торопись, закончи курсы, и все образуется.

– Я лучше пойду в народ!

Хомяков грустно улыбнулся:

– Народ – это не миф, это – живые люди, и я – один из представителей. Но я учился. Сам. Мучительно, до головокружения, чтобы выйти из той массы, которую мы именуем народом. Выйти, Надюша, потому что масса эта закоснела и способна жить только по инерции. Чтобы понять причины этой закоснелости, необходимо получить хорошее образование – с налета, по интуиции ни в чем не разберешься, ничего не поймешь, и суждения заведомо окажутся неверными. И мой тебе совет: иди-ка ты на курсы, девочка.

Но Наденька была упряма, и так просто, по первому совету, изменить свою жизнь не могла. Все сожгла, пострадала, помучилась и в конце концов сочинила сказку, которую напечатал уж совсем малоавторитетный журнал.

А сказка была о том, как в половодье на сухой остров перебрались маленькие звереныши. Так сказать, дети взрослых. Медвежонок и Лисенок, Барсучонок и Зайчик, Волчонок и Сорока. И как ради выживания они решили, что у них будет справедливое содружество, чтобы никто никого не съел. Президентом выбрали Мишу-медвежонка, Лизонька-лисичка сама напросилась на должность главного поставщика продуктов, Боря-барсук взял на себя строительство нор и убежищ, Зойка-зайчишка обещала доставлять овощи, Вовка-волчонок решил отвечать за всеобщую безопасность, а Серафима-сорока заверила всех, что будет регулярно сообщать, что творится в мире.

Естественно, ничего доброго из этого не вышло. Медведь спал и сосал лапу. Лисичка приносила четверть необходимого, лично съедая остальное. Барсук старательно рыл глубокие норы, в которые никак не могли влезть ни медведь, ни волк, а сорока влезать просто не пожелала. Зайчонок лопал всю морковку, которую должен был доставлять к общему столу. Волчонок гонял всех пришлых зайцев, с аппетитом похрустывая косточками тех, кто не смог от него увернуться, а сорока разносила только сплетни. Кончилось тем, чем и должно было кончиться: островная демократия перестала существовать, сожрав саму себя.

Эту сказку напечатали в «Гусляре», самолюбие было удовлетворено, и Наденька послушно поступила на курсы.

И эти курсы оказались частными по настоянию Варвары, и там учили на год дольше всех остальных. Учили по европейской системе, требуя собственных рефератов, и у Нади не оставалось времени на сочинения просто потому, что она не желала да и не умела быть второй. И закончила первой, что и было отмечено в свидетельстве о ее праве преподавать русскую словесность в городских училищах и прочих им соответствующих учебных заведениях.

Но на курсах Надежда прослушала обширный цикл лекций о журналистике, и это произвело на нее огромное впечатление. Эти лекции подводили логический фундамент под слова авторитетнейшего ее советчика Хомякова о постижении народной души. И Наденька твердо решила, что сначала станет известной журналисткой, а уж потом, набравшись идей, и писательницей.

Выбор был сделан.

Выбор был сделан – только не сердцем, а умом, потому что сердце оказалось занятым приятелем Георгия еще по юнкерскому училищу. Доселе Наденьке не случалось влюбляться – не считать же объектом влюбленности «паровоз», закричавший «Тут! Тут!», вместо того чтобы бережно поднять с земли обретенную пропажу. Ну, были, конечно, девичьи увлечения, легкие и приятные флирты, кокетливые, ни к чему не обязывающие свидания. А тут вдруг – усы, шпоры, сабля и к тому времени уже золотые офицерские погоны. Голова пошла кругом, и все мечты о сочинительстве мгновенно из нее выветрились. Осталась одна мечта, но зато вполне практическая – наконец-то впервые в жизни услышать самые главные, самые заветные слова: «Надин, дорогая моя Надин, я люблю вас!..»

Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу. Курсы, естественно, были женскими, но бал женским быть никак не мог, и поэтому курсовое начальство рекомендовало каждой курсистке самой позаботиться о танцевальных партнерах. Надя пригласила Георгия, а он притащил с собой приятеля, что в результате и привело к некоторым серьезным осложнениям. Как внешним, так и внутренним.

Бал, как и полагалось, открылся вальсом, и Наденька, как и полагалось, первый тур танцевала с приглашенным ею кавалером, в данном случае – с Георгием. Зато три последующих – с его приятелем, и это было восхитительно. Молодой офицер оказался живым и остроумным, легко шутил и легко болтал, и Наденькино сердце от тура к туру билось все чаще, а щеки горели все ярче. Но апофеозом бала, как и полагалось, должна была стать мазурка, в которой Надя – все сокурсницы признавали это (естественно, не без столь же естественной зависти) – не знала себе равных.

По желанию раскрасневшихся курсисток была объявлена большая мазурка, предусматривающая выбор партнерши из двух предложенных «качеств» перед третьей фигурой. И Наденька подвела свою подругу к двум приятелям – подпоручикам.

– Вечная разлука или вечное одиночество? – чуть ли не хором спросили они.

Георгий, разумеется, вежливо уступил право выбора своему гостю, на что, собственно, и рассчитывала Надя. А гость не задумываясь брякнул:

– Вечное одиночество!

А это самое «вечное одиночество» было «качеством» подружки Катрин, особы довольно ветреной, но весьма симпатичной. И Наденька была вынуждена отплясывать с родным братом. Правда, Георгий танцевал отменно, и все же это оказалось первым уколом.

И второй не замедлил воспоследовать – во время выбора «качества» среди кавалеров. Офицеры пошушукались и дружно шагнули к девушкам:

– Награда или удача?

Более шустрый приятель опередил Георгия с вопросом и задал его Катрин, которой поэтому и надлежало выбирать.

– Удача!

И Наденьке вновь пришлось танцевать с братом, что было уж совсем обидно. Настолько, что она вдруг припомнила, как прозвучал сам выбор «качества»: неожиданный гость задал вопрос первым, не согласовав очередности с Георгием, что в известной мере противоречило общепринятым правилам, хотя и не возбранялось.

– Почему ты уступил своему приятелю право на выбор? – сердито спросила Наденька.

– Да просто потому, что меня твоя подружка не заинтересовала, а его, кажется, наоборот.

И Надя получила третий удар по самолюбию, уже от родного брата. Это было чувствительно настолько, что она даже сбилась с шага. К счастью, музыка смолкла, перед второй частью большой мазурки объявили перерыв, чтобы девушки могли поправить прически и туалеты, и Наденька сразу же прошла в дамские комнаты.

А симпатичная – ну, это, как говорится, дело вкуса – подружка Катрин появилась в них с непозволительным опозданием. Влетела, переполненная восторгом, так и сияя.

– Он угощал меня в буфете!..

– Волосы поправь, – суховато посоветовала Надя.

– А как он танцует, как танцует!

– Возможно, – сказала Наденька и вышла в зал.

Во второй части мазурки выбора «по качеству» уже не было. Надя оттанцевала две фигуры с братом, а от третьей отказалась, сославшись на усталость, и весь бал приобрел вкус лимона без сахара.

Вероятно, Георгий что-то все же сообразил, потому что уже на следующий день притащил своего приятеля на ужин к Хомяковым. И Наденька распустила перышки, намереваясь во что бы то ни стало взять реванш. Болтала, шутила, смеялась – словом, флиртовала вовсю.

А он молчал. Противный подпоручик Сергей Одоевский. Да, да, из тех самых князей Одоевских, только не князь, поскольку происходил из боковой ветви огромного развесистого генеалогического древа знаменитых потомков самого Рюрика. Молчал весь первый вечер и мало говорил в последующие. И Наденька частенько рыдала в подушку, вместо того чтобы размышлять о журналистской карьере.

– Наконец-то счастливые слезы, – с удовлетворением сказала Варвара, не вовремя войдя в спальню младшей сестры. – Слава тебе, Господи. Все естественное – разумно.

– Я его ненавижу!

– Ну и правильно делаешь.

– Он… Он – пшют и фанфарон!

– И здесь все правильно. Природа играет по отработанным правилам, сестричка.

– Идиотские правила!

– Возможно. Но, право, будет жаль, если их отменят. Для всех – жаль, а для девушек – катастрофа.

– Господи, о чем ты, о чем…

– Девушки все одинаковы, потому что они – дочери естества, самой природы, а юноши – продукт цивилизации, только и всего. Отсюда – женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности. И брак на небесах – это равновесие природы и цивилизации, гарантирующее его прочность и неуязвимость.

– А как же… – Надя всхлипнула. – Как же любовь? Хочешь сказать, что ее нет?

– Не хочу, потому что она есть. И слава богу, что есть. Только… Как бы тебе объяснить? Любовь – это всего лишь увлечение. В легкой форме – увлечение, в тяжелой – ослепление. А строить семью на ослеплении по меньшей мере глупо. Семья, построенная на ослеплении, подобна плоскодонному кораблю, который непременно перевернется при первой же буре. Любовь есть невероятное по мощи влечение душ друг к другу. Душ, а не взыгравшей плоти, Наденька. Прости меня за столь грубое сравнение, но ты уже взрослая и должна понимать, что я имею в виду.

– А я не понимаю!

– Для плотского влечения существуют гетеры, а в просторечии – прости господи. Еще раз извини.

– Но я же…

– Не стоит утолять голод зелеными яблоками, лучше и полезнее погодить, пока они созреют. Воля, Надежда, только воля и одна лишь воля есть основа лучшей части человеческого общества. Умейте властвовать собой, мадемуазель.

– Но я не желаю…

– Воля и желание – антиподы. Необходимость и воля – синонимы. Об этом нельзя забывать людям, считающим себя образованными, если образование для них не просто набор знаний, а повышенная обязанность перед обществом.

На этом тогда и закончился разговор двух сестер, старшей и младшей. Сказать, что Наденька во всем согласилась с Варварой, было бы неправдой: наоборот, она почти все отвергла, с легкостью отнеся Варю к возрасту, который просто не в состоянии понять современную молодежь. Но так случилось, что дней через пять, что ли, как-то сама по себе завязалась беседа с Романом Трифоновичем.

– Подпоручик Одоевский? – настороженно переспросил Хомяков, когда Наденька – естественно, вскользь, разумеется, между прочим – упомянула о Рюриковиче в разговоре. – Мне что-то днями рассказывал о нем наш Жорж. Что-то скверное, из-за чего Жорж и перестал с ним приятельствовать. Кажется, речь шла о передергивании в картишки.

– Неправда! – Надежда залилась гневным румянцем. – Это… это гнусная клевета. Георгий просто завидует ему, вот и все!

– Пылу много, а логики явно недостаточно. Из твоих слов вытекает, что твой брат способен на ложь?

– Вероятно, он проиграл Одоевскому крупную сумму и теперь чернит его на каждом шагу.

– Вероятно или достоверно?

– Оставьте меня! Вы все просто несовременные люди! Вы отстали, понимаете? Отстали на полвека с вашей моралью!..

Аргументов больше не оказалось, и Надежда прибегла к последнему, закатив громкую истерику с падением на пол. Это было так на нее непохоже, что Роман Трифонович очень испугался и позвал горничную Наденьки.

Об этой горничной, которую все в доме звали почему-то Грапой, а не Груней, следует рассказать особо. Она заменила долго служившую у них Полю, поскольку Поля вышла замуж, и в признание ее несомненных заслуг Хомяков купил молодым домик на окраине Москвы. Замена произошла как-то очень уж стремительно, по рекомендации через третьи руки; новая горничная казалась торопливо приветливой и поспешно услужливой, никто на нее не жаловался, почему она и прижилась в доме. Варвара считала, что Грапа способна оказать на Наденьку благотворное влияние, потому что ей было уже за тридцать, а Роман Трифонович ориентировался на отзывы Надежды, всегда находившей добрые слова о своей горничной. И все шло хорошо, пока через несколько дней после Надиной демонстративной истерики дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо – старый и проверенный помощник Хомякова еще со времен последней войны – не доложил своему патрону с глазу на глаз:

– Сегодня в пятом часу утра из нашего дома тайно вышел подпоручик Одоевский. Полагаю, что от Надежды Ивановны.

– Сам видел?

– Лично. А Мустафа ему ворота открывал.

Роман Трифонович переполошился не на шутку. Отправил Варвару к Надежде с категорическим приказом добиться разъяснений и лично допросил горничную Грапу. Горничная избегала смотреть в глаза, однако на все вопросы отвечала без запинки:

– Знать ничего не знаю. Спала я, барин.

Варе повезло больше, поскольку Наденька, быстро осознав, что она натворила, безостановочно плакала, тихо бормоча:

– Я преступница, преступница, но теперь он непременно женится на мне.

Выяснение отношений с бесчестным соблазнителем и проблематичным женихом решено было поручить подпоручику Георгию. Он ввел его в дом, он представил его Надежде, ему и

должно было расхлебывать кашу. И пока Варвара всячески урезонивала грешницу, Георгий, бледный от накатившего бешенства, разыскивал бывшего приятеля.

5

Разыскать подпоручика оказалось непросто, поскольку своего дома он не имел, а квартировал у многочисленных родственников, чередуя их по одному ему известной системе. В полку его тоже не оказалось, потому что он числился в краткосрочном отпуску по болезни. В конце концов Георгий, впустую потратив три дня, разыскал его в низкого пошиба биллиардной на Ильинке.

– А, Жорж! Рад тебя…

– Извольте выйти со мною, Одоевский.

– Боже, как торжественно!

– Извольте выйти со мной, – сквозь зубы повторил Георгий.

– А, собственно, ради чего? – Одоевский нагловато улыбнулся. – Твоя сестра, насколько мне известно, достаточно взрослая, чтобы решать, с кем и зачем…

Георгий молча ударил его в лицо. Это была не принятая в обществе пощечина, а увесистый удар кулаком сына крепостной крестьянки. Одоевский отлетел в угол, лицо его залила кровь.

– Присылай секундантов, подлец. Если струсишь, изобью до полусмерти.

Дуэли были запрещены, и Георгий отлично представлял, что рискует карьерой. Но он не только любил Надежду, но и отвечал сейчас за фамильную честь.

Секунданты – мало знакомый Георгию капитан и совсем незнакомый подпоручик – явились на следующий день. Сухо, но вполне корректно, как то и предусматривал дуэльный кодекс, договорились о месте и времени: речка Сходня, в полуверсте от Черной Грязи, шесть утра. Подпоручик Одоевский, как лицо оскорбленное, в качестве оружия избрал револьверы служебного образца.

– Чтобы труднее было найти следы дуэлянтов, если чья-то рана вынудит обратиться в госпиталь, – пояснил капитан.

Это было разумно: револьверная пуля относительно дуэльной оставляла иные последствия, которые к тому же легко было объяснить неосторожным обращением со служебным оружием. Кроме того, оскорбленная сторона брала на себя заботы о докторе, что выглядело не совсем обычно, но Георгий объяснил себе эту необычность заботливостью немолодого капитана.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли домашним, чтобы Николай – к тому времени уже штабс-капитан – упаси бог, не оказался замешанным в противуправном поступке. Поэтому и секундантов нашел среди полковых приятелей, попросил их заехать за ним в старый олексинский дом, а вечером навестил Хомяковых. Затея была рискованной, но он чувствовал потребность побыть среди родных накануне пальбы боевыми патронами. Варвара оказалась у Нади, и Георгия встретил один Роман Трифонович.

– Нашел его?

– Нашел.

– Когда?

– Что – когда?

– Ну зачем же меня-то обманывать, Жорж? – усмехнулся Хомяков.

– Завтра. Смотри, Роман Трифонович, ни полслова.

– Завещание будешь писать?

– Нет.

– Правильно. Дурная примета.

К тому времени Роман Трифонович уже выгнал Грапу взашей и без рекомендаций: он был беспощаден к нечестным слугам. Но без горничной, а особенно сейчас, Надя обойтись не могла, и Хомяков нанял таковую лично, не прибегая к услугам даже верного когда-то помощника, а теперь дворецкого Евстафия Селиверстовича. Взял сразу и без колебаний, потому что искомая горничная понравилась ему с первого взгляда: миловидная девушка, скромная и понятливая и – с толстой, пшеничного цвета косой ниже пояса. Звали ее Феничкой, она уже имела некоторый опыт, послужив в весьма приличном доме, из которого ее и сманил Роман Трифонович, предложив чуть ли не двойное жалованье. И, как ни странно, главным в его решении оказалась коса, хотя в этом Хомяков не признавался даже самому себе: он питал невероятную слабость к девичьим косам пшеничного цвета.

Утром следующего дня секунданты заехали за Георгием в назначенное время. Он молча трясся в наемной пролетке, и мысль о Владимире назойливо преследовала его, как осенняя муха. Вот так же точно, как сейчас, представлялось ему, двадцать лет назад его брат портупей-юнкер Владимир спешил на дуэль, с которой ему не суждено было вернуться. Мысли были не из приятных, но – не пугали: Георгий думал не о сходстве ситуаций, а об их принципиальной разнице. Он мучительно размышлял, как же отвести от Наденьки все светские сплетни и пересуды. Застрелить Одоевского? Но это только подогреет слухи, заставит сплетниц копать глубже, через прислугу, подкупы, посулы. Кроме того, ему придется поставить на военной карьере жирный крест – крест, который перечеркнет все его мечты. Нет, убивать соблазнителя не следует ни в коем случае. Но тогда – что? Что?.. Как отвести позор от сестры? Как?.. Он думал и поэтому был спокоен, но разговаривать ему не хотелось.

– Господа, – сказал капитан. – Пока не случилось ничего непоправимого, прошу вас принести друг другу извинения, пожать руки и разойтись с миром.

– Это сложно, капитан, – криво усмехнулся Одоевский. – Я оскорбил Олексина нравственно, а Олексин меня – физически. Никакие извинения приняты не будут, хотя я, со своей стороны, готов признать, что был не прав.

– Только и всего? – спросил Георгий.

– Только и всего, Олексин, но первый выстрел – за мной. Надеюсь, вы не оспариваете моего права?

Олексин пожал плечами и молча пошел на свой номер, держа врученный ему револьвер в опущенной руке. «А ведь у него дрожал голос, – подумал он, заняв позицию и не поднимая револьвера. – Трусишь, Одоевский?..»

– Жорж, прикрой грудь! – крикнул кто-то из его секундантов.

– К черту! Командуйте, капитан!..

И не поднял револьвера, ожидая выстрела. Одоевский опустил револьвер, который держал у плеча, и начал медленно целиться. «Долго, дьявольски долго…» – успел подумать Георгий, когда наконец-таки сухо ударил выстрел. Пуля порвала погон на левом плече мундира, и секунданты шумно вздохнули.

– Выстрел за мной, Одоевский! – громко выкрикнул Георгий. – Живи и мучайся!..

Подошел к капитану, протянул револьвер.

– Браво, Олексин, – с огромным облегчением сказал капитан. – Вы поступили в высшей степени благородно.

Хотя дуэль прошла без кровопролития, санкции последовали незамедлительно. Дуэлянты – каждый, естественно, в своем полку – были преданы судам офицерской чести и решением их уволены из армии. Однако рекомендации судов вступали в силу только после утверждения государем, дуэлянтам-офицерам полагалось служить в прежних должностях до монаршего волеизъявления, но Одоевский сразу же подал рапорт об отставке. Этого ожидали, потому что на дуэли он выстрелил отнюдь не в воздух. А подпоручик Олексин от своего выстрела отказался, и его благородство покрывало Одоевского несмываемым позором.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли, но о ней узнало все московское светское общество. Подробности дуэли живо обсуждали в полках, клубах и салонах, неизменно восхищаясь мужеством и выдержкой подпоручика Олексина. Московский Дворянский клуб послал петицию государю с нижайшей просьбой не гневаться на подпоручика Олексина, поступившего столь благородно да при этом еще и выказавшего личную смелость и отменное хладнокровие. Аристократические старцы, хранители традиций офицерской чести, писали знакомым генералам и сановникам при дворе, заклиная изыскать все способы воздействия на решение государя, а Хомяков тут же отправил курьера в Петербург к генералу Федору Олексину с письмом, в котором подробно рассказал о дуэли, не касаясь, однако, ее основной причины, но требуя использовать все свое влияние ради спасения офицерской карьеры Георгия.

Впрочем, об этой основной причине не упоминали даже записные кумушки из высшего московского света. Не только потому, что не знали, – даже Одоевский помалкивал, – а потому, что поступок Георгия затмил причины вообще. Уж слишком мелкими казались все возможные поводы ссоры двух офицеров: ну, приревновали друг друга, ну, не сошлись во мнениях, ну, карточные недоразумения, ну… Да какая разница, господа, разве дело в причине, когда следствие этих причин несоизмеримо благороднее всех их, вместе взятых?.. И двери самых заветных московских домов широко распахнулись перед никому доселе не известным армейским подпоручиком, хотя сам подпоручик Олексин не пересек порога ни одного из них.

Но решение государь принять был обязан, и оно воспоследствовало. Всемилостивейшим распоряжением подпоручик Олексин переводился из Москвы в Ковно с повышением в чине, но запрещением служить в обеих столицах сроком на десять лет.

Хомяков устроил прощальный вечер лишь для своих. Надежда появилась, как только приехал Георгий. Печальная, виноватая, какая-то съеженная. Сказала тихо:

– Прости меня, брат. Бога ради.

– Да что ты, сестренка! – Георгий крепко обнял ее, прижал к груди. – Тебе же все приснилось. Приснилось, понимаешь?.. Вот и улыбайся, как всегда.

А чуть запоздавший Николай – только что по совершенно уж необъяснимой причине пожалованный полным капитанским чином (а причина была проста: генерал Федор Олексин шепнул кому-то могущественному, что-де «родной брат того самого, который в воздух…») – первым делом бросился к подпоручику, облапил его, затормошил:

– Всем нам пример! Всем пример!.. Ура, господа, ура!..

– Почему бы тебе не раздеться? – с привычной строгостью поинтересовалась Варвара.

– Извини, но мне, к сожалению, пора бежать. С дежурства на полчаса улизнул. А бежать – добрых сорок минут.

– А как же… – начал было Георгий.

– Думай, герой, думай! – весело прокричал Николай и тут же умчался.

– Все Олексины малость с придурью, – добродушно проворчал Роман Трифонович. – Рвутся куда-то без расчета и логики.

Глава вторая

1

Надя и ее новая горничная Феничка не просто привыкли друг к другу, не только, как говорится, сошлись характерами, но и в определенной степени подружились, если в те времена можно было представить дружбу хозяйки и служанки. Отрыдавшись и отказнившись, Наденька растеряла прежний пыл, стала спокойнее и уравновешеннее. Однако Варваре это смирение показалось несколько подозрительным:

– В тихом омуте черти водятся.

– Стало быть, дружно молиться начнем, – буркнул Роман Трифонович.

Ему категорически не нравилась подозрительность супруги. Он верил своей любимице безоговорочно, зная основательность ее характера и его глубину. Происшедшее с нею он считал воплем угнетенной плоти, которой по всем возрастным меркам положено было познать свое естество. «В девках засиделась, только и всего, – как всегда грубовато думал он. – Стало быть, наша вина, а более всего – Варенькина. Она ей мать заменила, с нее и спрос». Из этого размышления само собой напрашивался вывод: пора знакомить Надежду с достойными женихами. Следовательно, пора устраивать балы, приемы, рауты, музыкальные вечера и тому подобное, поскольку выезжать в свет ему, одному из самых богатых людей Москвы, но не дворянину, было как-то не с руки. И принять могли далеко не все, и сам он далеко не у всех желал показываться. В высшем свете должников хватало, и здесь следовало пять раз оглянуться, прежде чем шагнуть. Кроме того, старое московское дворянство, а в особенности дворянство титулованное, упорно видело в Олексиных губернских провинциалов, в лучшем случае относясь к ним с покровительственным снисхождением, что болезненно воспринималось Варварой. И это следовало учитывать с особым вниманием. Роман Трифонович знал не только свое место, но и свою цену, обладал собственным достоинством и не желал попадать в неуютные положения.

– Несколько преждевременно, – сказала Варвара, когда он изложил ей свою тщательно продуманную программу. – Ты совершенно прав, но Надя еще не успокоилась. Дадим ей время, дорогой.

– До конца года, что ли?

– Конец года – это прекрасная пора, Роман. Рождество, Святки – очень естественно для разного рода приглашений, и никто в этом ничего нарочитого не усмотрит.

– Пожалуй, ты права, Варенька, – согласился, основательно, правда, все взвесив, Хомяков. – Ничего нарочитого – это хорошо, достойно.

А тем временем в комнатах Надежды – спальне, будуаре и личном кабинете – шли долгие девичьи разговоры. Они, как правило, не имели определенной темы, как и все девичьи беседы, и часто возникали вдруг, без видимого повода, но всегда – только по инициативе хозяйки, как и полагалось в те времена.

– Ты когда-нибудь влюблялась, что называется, очертя голову?

– Не знаю, барышня. Влюбляться – барское занятие, а жених у меня есть. Тимофеем звать. На «Гужоне» подмастерьем работает. Говорит, на каком-то стане, что ли. Огнедышащем, говорит. Уж и родителей мы познакомили, и сговор был.

– А чего же не обвенчаетесь?

– Семьи у нас небогатые, барышня. За мною ничего дать не могут, вот я сама себе на приданое и зарабатываю.

– Я тебе на приданое дам, но с условием, что ты меня никогда не бросишь.

– Нет, барышня, спасибо вам, конечно. Только семья – это муж да детишки, сколь Бог пошлет. А я детишек страсть как люблю!

– Часто с женихом видишься?

– Да ведь как… Прежняя хозяйка два раза в месяц на целый день отпускала.

– Скажи, когда надо, и ступай целоваться.

– Ой, барышня!.. – Феничка зарделась больше от радости, нежели от смущения. – Спаси вас Христос, барышня.

– А мне с тобой хорошо, Феничка, – улыбнулась Надя. – Друг друга мы понимаем.

– И мне с вами очень даже распрекрасно, барышня. Дом – чаша полная, а все – уважительные. Даже сам Роман Трифонович очень уважительный мужчина, а ведь при каком капитале-то огромном!

– Мне сейчас трудно, Феничка, – вдруг призналась Наденька. – Трудно и на душе смутно. Уехать бы нам из Москвы этой опостылевшей куда-нибудь в тишину, покой…

– Так куда пожелаете, туда вас и отправят. Хоть в заграничные страны.

– Бывала я за границей, – вздохнула Надя. – Суета там, чужая праздность и… и сытые все.

– Ну и слава богу, – сказала Феничка, умело приступая к прическе своей хозяйки. – Нам, русским, до сытости далеко.

– Другая у них сытость, Феничка. Не тела, а духа. Выучили правила и не желают более ни о чем ни знать, ни думать. Скука немыслимая, порой выть хочется.

– У нас пол-России воет, а вы не слышите.

– Как ты сказала, Феничка?

– Пол-России, говорю, воет, кто с обиды, кто с голоду. А господа и вполуха того воя не слышат.

– Как замечательно ты сказала, Феничка. Как просто и как замечательно!.. Заставить господ вой этот услышать – вот цель, достойная жизни. Если русская литература заставила понять, что есть холоп и есть барин, то русская журналистика обязана заставить господ народный вой услышать. Заставить, понимаешь?..

– Не-а, барышня, уж не обижайтесь. Неученая я.

– А ты подумай, подумай, Феничка. Ты отлично умеешь думать, когда хочешь.

– Ну если желаете, то так сказать могу. Никогда вы господ не заставите беду народную прочувствовать. Кто же сам себя добровольно огорчать станет? Разве что дурачок какой юродивый… Нет, барышня, жизнь, она ведь колесом катится, чему быть, того не миновать.

– И это верное заключение, Феничка, – покровительственно улыбнулась Надя. – Только колесо-то ведь подпрыгивает иногда…

Разные у них случались беседы – с выводами и без, и не в них, в сущности, дело. Главное заключалось не в беседах, а в том, что под влиянием этих бесед душа Наденьки рубцевалась, а рубцы рассасывались.

Согрешить всегда легче, чем избавиться от ощущения собственного греха. О своей обиде она сейчас уже и не думала, разобравшись наконец, что вся эта история с Одоевским случилась совсем не по любви, а только лишь из-за очередного приступа самоутверждения. Теперь ее мучило другое: понимание, что своим поступком она поставила родного брата на край гибели. Ведь Одоевский целился в сердце Георгия и лишь чудом, Божьим провидением, промахнулся, прострелив погон на левом плече. Этот простреленный погон она вымолила у Георгия, когда он заехал попрощаться перед отъездом в Ковно. Вымолила, и подпоручик на следующее утро за час до отъезда принес его. И она при всех опустилась перед братом на колени, поцеловала этот продырявленный погон и спрятала на груди.

– Ну что ты, что ты, Наденька! – Георгий поднял ее с пола, обнял. – Забудь об этом, забудь! Пустое это. Пустое.

А Наденька впервые разрыдалась облегчающими слезами, и все ее утешали и целовали.

Но это – при всех. А ужас, что брат чудом не погиб, продолжал жить в ее душе. Продолжал истязать ночами, не давая уснуть.

2

Распрощавшись с сестрами и Хомяковым, Георгий направился не домой, как все полагали, а к Николаю. Он узнал, что капитан задерживается на службе, а поговорить на прощанье было необходимо. Кроме того, ему хотелось попрощаться и с Анной Михайловной, которую скорее жалел, чем любил.

Жалел не потому, что супруга брата выглядела белой вороной не только у Хомяковых, но и в московском офицерском обществе. Анна Михайловна частенько неприятно поражала и его присущей ей на удивление естественной бестактностью, но это подпоручик научился сразу же прощать после рождения крохотной хромоножки-Оленьки. Отчаяние матери оказалось столь безграничным, а убежденность, что в несчастии виновата только она, столь искренней, что он – тайком от Николая, разумеется, – бросился тогда к Варваре.

– Только не ставь Николая в щекотливое положение!

– Об этом ты мог бы меня и не предупреждать, Жорж.

Варя деликатно начала с того, что нанесла визит молодой чете. Вопреки ее опасениям, Анна Михайловна не раскудахталась по поводу неожиданно нагрянувших миллионщиков-родственников, а чисто по-женски показала несчастного младенца и поведала о своих горестях с глазу на глаз.

– В покаяние она ударилась, – говорил тем временем Николай, угощая Романа Трифоновича чем бог послал. – А это уж совсем ни к чему, мы второго ребенка ждем.

– Не убивайся преждевременно, Коля. Тут главное, что врачи скажут. Есть в Москве два больших знатока.

– Большие знатоки офицеру не по карману.

– Кабы такую глупость твоя супружница ляпнула, то и бог с ней, – рассердился Хомяков. – Твоя дочка нам, между прочим, племянницей доводится, ты что, позабыл? Стыдно, Колька.

Вот это крестьянское «Колька» и умилило тогда Николая чуть не до слез. До поцелуев, правда, он не дошел, но от неожиданной просьбы не удержался:

– Если мальчик родится, будешь крестным?

– А если девочка? – улыбнулся Хомяков.

– Если опять девочка, Варю о том же попрошу.

– Столковались, Коля! – рассмеялся Роман Трифонович. – И чтоб все ладно было.

Но ладно не получилось. Самые известные в Москве (и самые, естественно, дорогие) детские хирурги в один голос заявили, что при подобных травмах медицина бессильна. Дали кучу рекомендаций, как разрабатывать, массировать и нагружать больную ножку Оленьки, и Анна Михайловна вновь осталась наедине со своим покаянием.

Это-то и послужило основной причиной позднего визита Георгия. Супруги искренне ему обрадовались, Анна Михайловна показала спящую дочку, посидела немного с братьями и ушла к себе, сославшись на усталость.

Молодые офицеры обменялись полковыми новостями, Николай вспомнил о дуэли, тут же помянули портупей-юнкера Владимира и как-то само собой, незаметно перешли на воспоминания детства.

– Ты был, когда какая-то подчиненная Маше дама привезла в Высокое Леночку? Что-то, Коля, я тебя там не припоминаю.

– Я, младенец мой прекрасный, вступительные экзамены в гимназию сдавал.

– Да, да! – почему-то обрадовался Георгий. – И получил еле-еле тройку по арифметике. И Варя тебя пилила дня четыре.

– Неделю. Не бывать мне генералом, Жорж.

– Ну, это еще бабушка надвое сказала. Кто в семье ожидал, что непутевый Федор, которого, как тебе известно, жандармы искали по всей России, в тридцать лет наденет эполеты?

– В тридцать лет у Федора орденов целая грудь была. В том числе и солдатский Георгий, который на офицерском мундире светится совершенно особым светом.

– Его очень любил Михаил Дмитриевич Скобелев, – тихо сказал Георгий и вздохнул.

– Да! – коротко бросил Николай, решительно обрывая этот разговор.

Неожиданно всплывшая тема была весьма щекотливой и даже в известной мере опасной. Русский национальный герой, славы которого хватало на весь мир, внезапно скончался в Москве в возрасте тридцати девяти лет. По этому поводу бродило множество как слухов, так и домыслов, а поскольку Михаил Дмитриевич умер через два часа после доброй офицерской попойки, на которой присутствовал и Федор, то и слухи, и домыслы в определенной мере коснулись и семьи. Тем более что государь Александр Третий, сурово наказав многих соучастников дружеского ужина с обильными возлияниями в «Славянском базаре», полковника Федора Ивановича Олексина не только не тронул, но, наоборот, перевел из Москвы в Петербург и приблизил ко двору. Никто этого тогда объяснить не мог, в том числе и сам Федор, и все списали на свойственную императору непредсказуемость. Но всем Олексиным стало неприятно тогда. Было неприятно и сегодня. И молодые офицеры, задумчиво помолчав, просто дружно выпили за одно и то же, ни словом при этом не обмолвившись.

– А генералом мне не бывать вовсе не из-за арифметики, – улыбнулся Николай. – В Академию Генерального штаба мне теперь дорога заказана. С чистыми капитанскими погонами туда не принимают, как тебе известно.

– Это я тебя подвел, Коля, – вздохнул Георгий.

– Тем, что я досрочно чином пожалован? – усмехнулся Николай. – Бог с тобой, брат, мне все офицеры в полку завидуют. Не успел приехать из глухого провинциального гарнизона и вдруг – здравствуйте, беззвездочные капитанские погоны.

– Думаешь, Федор расстарался?

– Не спрашивал, не спрашиваю и спрашивать не буду, – резче, чем хотелось, сказал Николай.

Помолчали.

– Ты прости, Жорж, за резкость, – неуверенно улыбнулся капитан. – Порою мне кажется, что мы несправедливы к Федору. Особенно почему-то Варя и Роман. Не находишь?

Георгий неопределенно пожал плечами:

– Может быть, Варвара считает его виноватым в том, что Хомяков потерял все свои капиталы в Болгарии?

– Не думаю. Варенька у нас мыслит логически. – Капитан помолчал. – Что-то тут посерьезнее, Жорж. А серьезное, как говорится, штаб-офицерам не по погонам. Давай еще по рюмке.

– За службу, брат?

– Скучно сказал, – улыбнулся Николай. – А что же та девица, которой ты меня как-то представил? Грозит расставание навеки?

– Обещала ждать! – самодовольно улыбнулся подпоручик.

– Десять лет, что ли?

– Нет, собственного совершеннолетия.

– И велик ли срок?

– Через два года надеюсь встречать ее на вокзале в Ковно.

– Веришь в эту встречу?

– А я всегда верю, Коля. Я не умею не верить. Иначе жить скучно, понимаешь?

– Вот за это и выпьем. За веру во встречи через десять лет!

Братья улыбнулись друг другу и чокнулись полными рюмками.

3

Приближалось Рождество, а за ним и новый, тысяча восемьсот девяносто шестой год. Москва уже начала украшаться, на базарах появились первые елки. Год этот был совершенно особенным, потому что в мае намечалась коронация государя императора Николая Второго и государыни императрицы Александры Федоровны. Этот торжественный акт всегда происходил в Успенском соборе Кремля, и москвичи ожидали Новый год с особым радостным нетерпением.

Однако Рождество Христово оставалось и при грядущих исторических событиях главным церковным праздником, и к нему, естественно, готовились заранее. Расписывали балы, рождественские благотворительные базары, маскарады, званые вечера, катание на тройках и санках с Воробьевых гор, а отцы города подумывали еще и о народных гуляньях. Москва полнилась слухами – что, когда, где и у кого именно, – и с этими пока еще черновыми списками слухов и намеков Варвара однажды пришла к Наденьке.

– Вот список. У кого бы ты хотела побывать?

– Ни у кого.

– Тогда давай решать, кого пригласим к себе. Роман Трифонович закатит бал с ночным катанием на тройках…

– Извини, Варенька, я понимаю, вы хотите, как лучше. А я хочу тишины и покоя.

– Но это же невозможно, Наденька. Это могут неверно истолковать, а нам совсем ни к чему…

– Так отправьте меня из Москвы, и толковать будет не о чем.

– Куда? – строго спросила Варвара, уже начиная сердиться. – Куда ты хочешь убежать? От себя самой?

– Ох, если бы это было возможно…

– Пойми, тебе просто необходимо начать появляться в свете. А рождественские праздники – лучшее время для новых знакомств.

– Я поеду в Высокое, – неожиданно решила Надежда. – Да, да, к Ивану, в наше Высокое.

– Но там же… – растерялась Варвара. – Там же никого нет, кроме Ивана, который, ты это знаешь, вечно подшафе.

– Есть, Варенька, – грустно улыбнулась Надя. – Там два белых креста. Исповедуюсь маменьке, отрыдаюсь на ее могилке и вернусь другой. Верю в это!..

– Очередной каприз, Надежда?

– Скорее внеочередная необходимость.

– А ты знаешь, она права, – сказал Роман Трифонович, когда Варвара с возмущением поведала ему об «очередном капризе». – И это не каприз, это поиски спасения души.

– Но я не могу отправиться с нею в эти поиски, – резко возразила Варя. – У Николая днями ожидается прибавление семейства, он просил меня стать крестной матерью ребенка, и ты, кстати, об этом давно знаешь.

– Может быть, это и к лучшему, что мы не можем поехать к Ивану, – поразмыслив, сказал Хомяков. – Надюша сейчас нуждается в одиночестве. Во всяком случае, на какое-то время мы с тобой ей, извини, не нужны. Но ты не тревожься, я все устрою.

Он все основательно продумал, поговорил с Надеждой и – отдельно – с ее горничной, а потом вызвал к себе верного и пунктуально исполнительного Евстафия Селиверстовича.

– Поедешь в Высокое, к Ивану. Передашь ему мое письмо и обеспечишь все, что потребуется для отдыха Надежде Ивановне. Хорошего повара, хорошую прислугу, тройку с умелым ямщиком на все время Надюшиного проживания, ну… Словом, не мне тебя учить, сам все знаешь и без моих советов.

И через неделю дворецкий, помощник и особо доверенное лицо Хомякова Евстафий Селиверстович Зализо выехал в Смоленск.

4

А за сутки до его выезда в Высоком ночью зло разбрехались собаки, и сторож Афанасий разбудил хозяина Ивана Ивановича.

– Гость к вам, барин.

– Проси.

Иван поспешно оделся, накинул теплый халат, спустился вниз. В прихожей стоял мужчина в далеко не модном, но явно заграничном костюме. Левый рукав старого, немецкого покроя сюртука был подшит по локоть, на что Иван сразу же обратил внимание.

– Аверьян Леонидович?

– Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что потревожил в столь неурочный час.

Иван молча, со странным щемящим чувством разглядывал мужа собственной давно погибшей сестры Маши Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Правда, Аверьян Леонидович Беневоленский должен был отбывать бессрочную ссылку в Сибири за противоправительственную пропаганду, но сейчас почему-то стоял в прихожей. Со сна, отягощенного похмельем, голова была пустой, и Иван соображал туго.

– А как вы добрались?

– Пешком. Устал, замерз, два дня не ел. Проводите в столовую да велите подать водки да закуски поплотнее. Или пост соблюдать начали, Олексин? Тогда прошу прощения.

– Пешком из Сибири? – тупо спросил Иван.

– Из Ельни! – сердито ответил Беневоленский. – Я вас из дамской постели выдернул? Виноват, простите великодушно. Обогреюсь, перекушу и уйду.

Иван крепко обнял Аверьяна Леонидовича.

– Это вы извините меня, дорогой мой, выпил вчера лишнего. Как всегда, впрочем. Рад, всем сердцем рад. И встрече рад, и что живой вы и… Признаться, спиваюсь помаленьку от одиночества.

– А где же Леночка? Девочка-гречанка, которую спасли вы с Машей?

– Лена вышла замуж, – помолчав, глухо сказал Иван. – Живет с мужем где-то… В Харькове, что ли.

– Извините, не знал.

– Никого в доме, кроме прислуги за все. Фекла!.. Фекла, спишь, что ли? Гостя встречай!..

Появилась немолодая заспанная служанка, накрыла на стол, раздула самовар, недовольно ворча:

– Сало жрут в Филиппов пост, безбожники…

На сало и ветчину налегал Аверьян Леонидович. Изголодался, промерз, устал до изнеможения. Ивану кусок не лез в горло, и закусывал он кислой капусткой. После того как опрокинули по второй, не выдержал молчания:

– Как же вы здесь-то оказались, Беневоленский? Неужели помиловали?

– Черта с два они помилуют кого.

– В отпуске, что ли? – похлопал глазами ничего пока не соображающий Иван.

– Бежал.

– Из Сибири?

– Из Сибири. Точнее – из Якутии. Обождите, наемся – сам расскажу.

– Это ж через всю Россию?..

– Кругом. Да дайте же мне поесть, наконец!

Выпив еще две рюмки и основательно закусив, Аверьян Леонидович вздохнул с великим облегчением. Закурил, откинулся на спинку стула. Пускал кольцами дым, о чем-то размышляя. Фекла притащила самовар, накрывала к чаю, несогласно гремя посудой.

– Коли расположены слушать, Олексин, готов объяснить свое появление середь ночи и зимы.

– Может, поспите сперва? – с жалостью поглядев на него, вздохнул Иван. – На вас лица нет – одна борода.

– Не усну, пока все не расскажу. Вы знать должны, Олексин, чтобы решить, как вам поступать в отношении беглого ссыльного.

– Ну, это уж извините…

– Извиняться будете, когда выслушаете и, возможно, укажете мне на дверь. Я – бессрочный ссыльнопоселенец, как вам, должно быть, известно. Определен был на жительство в якутский поселок, место жительства менять, естественно, права не имел, а раз в десять дней туда наезжал урядник для контроля за ссыльными. Вот так все и шло из года в год лет восемь, что ли, как вдруг – вспышка дифтерии. Да в самой глухомани, почти на границе с Чукоткой. Врачей нет, и меня как медика мобилизуют для борьбы с эпидемией среди местного населения. Лекарств, сами догадываетесь, никаких, лечи, как сам разумеешь. А тут у шамана – якуты хоть и православные, а в глубинке шаман по-прежнему большая сила – внуки заболели, и шаманский сын сам за мной приехал: «Спаси, мол, детей, ничего не пожалею!» – «Коли, говорю, уладишь с урядником, то поеду с тобой». Уладил: в той глухомани уряднику ссориться с шаманом совсем не с руки, да и куда я зимой денусь? Расстояния – тысячи верст в любую сторону. Поехал, жил с ними в яранге, от заразы спиртом да квашеной черемшой спасался. Больных четверо: два мальчика и две девочки. Одну девочку спасти не удалось… – Аверьян Леонидович вздохнул, покачал головой. – Тяжелая форма, не смог. А остальных вылечил.

– Без лекарств?

– Пленки отсасывал, чудом не заболел. Шаман, дед их, на седьмом небе от счастья. «Вот, говорит, тебе за спасение». И три золотых самородка мне протягивает. «Бери, говорит, для нашего народа это – страшное зло, а для вашего – богатство». Я ему: «Ты лучше бежать мне помоги». – «Ладно, говорит, к морю наши люди тебя выведут, а там – сам выходить должен. А золото возьми, в дороге пригодится». Взял я самородки, поскольку нищ был как церковная крыса. Якуты меня в свою одежду обрядили, перебросили своими тропами на берег Охотского моря и уехали. А уж весна была. Побродил я с опаской вокруг да около, пока на японских рыбаков не наткнулся. И за один самородок столковался, что они меня в Японию отвезут.

– А ведь могли и все отобрать да и в море выбросить, – сокрушенно вздохнул Иван.

– Могли, конечно, но… до Японии довезли. Там я на голландский корабль пересел, который и доставил меня в Амстердам за два последних самородка. Ну а дальше – пешком через всю Европу.

– Без гроша?

– Подрабатывал, где мог и как мог. Я ведь немецким и французским владею, так что не очень это было сложно. На родине куда сложнее: документов-то у меня никаких. Крался, как тать в нощи, но до родимых мест дополз. В родном сельце, правда, показаться не решился, а в Высоком – рискнул.

– Одиссея…

– Сразу скажу, что мне нужно, а вы уж решайте. Мне нужно отдохнуть и в себя прийти. Полагаю, это несложно, поскольку вы тут в тягостном одиночестве пребываете, и я вас не

стесню. Второе посложнее, Олексин. Мне паспорт нужен. Позарез, что называется, или опять – в Сибирь по этапу. Поможете?

– Все, что в моих силах, друг мой. Все, что в моих силах.

– Тогда еще по рюмке да и спать. Как, Иван Иванович? Продрог я до костей на теплой чужбине…

– Давай Машу помянем, Аверьян? – вдруг тихо сказал Иван, перейдя на «ты» неожиданно для самого себя. – Царствие ей небесное, Машеньке нашей…

– Светлая ей память, Иван, – дрогнувшим голосом сказал Беневоленский.

И оба встали, со строгой торжественностью подняв рюмки.

Через несколько дней из Смоленска на тройке, за которой следовал небольшой обоз, приехал Евстафий Селиверстович. Прибыл он весьма скромно – на тройке был подвязан колокольчик, а бубенцы вообще сняты – гонца вперед не посылал, держался с подчеркнутой почтительностью, полагая господами Ивана и Беневоленского, а себя – лишь представителем Хомякова, но привез с собою дыхание живой жизни, от которой в Высоком почти отвыкли. Сообщил, что на Рождество приедет Надежда Ивановна со своей горничной, и передал Ивану письмо от Романа Трифоновича. В коротком, по-хомяковски деловом письме, в сущности, содержалась лишь просьба хотя бы немного поосторожничать с питьем, учитывая прибытие гостей и плохое здоровье Надежды. Никаких причин ухудшения этого здоровья Роман Трифонович не сообщал, но рекомендовал во всем положиться на своего управляющего господина Зализу, а самому весело и беззаботно встречать Рождество и Новый год вместе с младшей сестрой. И письмо Ивана очень обрадовало, потому что он глубоко и искренне – впрочем, он все делал на редкость искренне, даже спивался, – любил Наденьку.

– Надя на Рождество приезжает, – немедленно сообщил он Беневоленскому.

– Надя? – озадаченно переспросил Аверьян Леонидович. – Это кроха такая, что за коленки меня теребила?

– Наша кроха уж курсы кончила и, что главнее, писательницей стала. У меня рассказ ее имеется. «На пари» называется. Хочешь, дам почитать?

– Непременно. А что это за господин, который стал всем распоряжаться?

– Управляющий Хомякова, мужа Варвары. Между прочим, миллионщика… – Иван вдруг примолк, а потом, понизив голос, добавил: – Вот кто тебе, Аверьян, паспорт сделает. Фамилия у него такая, что в любую щель пролезет. Зализо его фамилия.

– А он не?..

– Не, – сказал Иван. – За ним – сам Хомяков, который эту власть больше тебя ненавидит. Вот и выход. Выход, Аверьян! Пойдем по этому поводу…

Тут Иван замолчал, глубоко и не без сожаления вздохнул и сказал:

– Ферботен[2]. Только за столом, только вино и только два… нет, три бокала. Этот Зализо воз шампанского привез. Да не нашего, российского, а настоящего.

– Кому с ним лучше поговорить? Тебе или мне? – спросил Беневоленский, которого мало интересовало шампанское, а новый паспорт – весьма и весьма.

– Сам поговорю. Вот пригляжусь два денька…

Евстафий Селиверстович, испросив разрешения у Ивана, развил бурную деятельность. Приказал выскрести весь дом от чердака до подвалов, предупредив, что сам будет проверять чистоту. Велел размести дорожки в саду, установить в зале елку и украсить ее игрушками и мишурой, которые привез из Смоленска. Распорядился вырубить пушистую ель, вкопать ее в центре села Высокого и увешать игрушками и свечами. Указал, какие именно дороги расчистить для безопасного катания на тройке, и велел привести в порядок могилы под двумя

[2] Запрещено (*нем.*).

мраморными крестами и дорожки к ним. И все проверял лично. Однако Иван на третий день сумел вытащить его из вороха дел.

– Серьезная просьба, Евстафий Селиверстович. Очень и очень. Наш родственник господин Беневоленский, которого хорошо знает Роман Трифонович, прибыл из-за границы… мм… Не совсем легально, а посему необходим паспорт.

– Сделайте милость указать, на какое имя.

– Он… – Иван растерялся от такого простого решения вопроса, казавшегося неразрешимым. – Он сам скажет.

– Завтра же выеду в Смоленск, чтобы успеть до Рождества, потому как далее воспоследствуют каникулярные дни.

– Благодарю…

– Польщен доверием вашим, Иван Иванович. Весьма польщен. Не откажите в любезности попросить господина Беневоленского передать мне все необходимые данные непременнейшим образом сегодня же. Если не затруднит вас просьба сия.

Все было сделано буквально в один день, и господин Аверьян Леонидович Беневоленский, бывший смутьян и вечный ссыльнопоселенец, стал мещанином Прохоровым Аркадием Петровичем. Зализо знал, как разговаривать с чиновниками, а хомяковские миллионы творили чудеса и почудеснее паспортных.

Заодно Евстафий Селиверстович привез фрачную пару, три приличных костюма для внезапного гостя и телеграмму от Варвары:

«НАДЕЖДА ВЫЕЗЖАЕТ 22 ВСТРЕЧАЙТЕ НЕПРЕМЕННО ВАРЯ».

5

Встречать любимую сестру Иван выехал вместе с неутомимым господином Зализо в закрытой карете, учитывая рождественские морозы. Поезд пришел вовремя, Надя степенно вышла из вагона первого класса, но, увидев Ивана, совсем по-девичьи повисла у него на шее.

– Ваничка, дорогой! Я так рада… Это ведь я к тебе на Рождество напросилась, не сердишься?.. А это – Феничка.

Феничка церемонно присела, а Иван, зайдясь от счастья, чуть было не обнял и ее, но – опомнился и почему-то погладил по голове. Евстафий Селиверстович почтительно поклонился, приказал кучеру взять вещи и повел всех к карете.

– Ты, Наденька, знаешь этого господина, – сказал Иван, представляя Беневоленского. – Это Аверьян Леонидович, муж нашей покойной Маши.

Потом был обед по случаю приезда – в доме не придерживались строгого поста, как и в большинстве дворянских домов того времени, но рыбные блюда и деликатесы, естественно, преобладали, а привезенный Евстафием Селиверстовичем повар в грязь лицом не ударил. Расспрашивали Наденьку, шутили, пили легкое мозельское вино, однако даже его Иван позволил себе ровно два бокала.

– У вас, Надя, бесспорное литературное дарование, – говорил Беневоленский. – Я читал ваш рассказ «На пари», и мне он понравился, несмотря на кричащую сентиментальность. Он остро социален, что делает его не только гражданско значительным, но и современным в лучшем смысле. Каковы ваши планы на будущее?

– Я… Я скверно себя чувствовала, но очень надеюсь окончательно выздороветь здесь, где прошло детство. А что касается планов на будущее… Мечтаю заняться журналистикой.

– Прекрасная мечта. Россия вступает в новое столетие, которое обещает резкое обострение классовой борьбы, и роль журналистики трудно переоценить.

– Смена веков есть смена знамен. – Иван печально улыбнулся. – Так любил говорить наш отец. Поклонимся ему и маменьке на второй день Рождества Христова, Наденька.

– Я… Да, конечно, Ваня.

Вечером Надя притащила из кладовой множество елочных игрушек и украшений, которые скопились за добрых двадцать лет. Затем Феничка с помощью Аверьяна Леонидовича и Ивана заново перевешивали игрушки и украшения, а Наденька вслух читала им любопытные известия столичных газет и журналов, которые привезла с собой.

– «Во Франции вошла в большую моду забава, известная под именем bataille de confetti. Публика забавляется, забрасывая друг друга разноцветными фигурками из бумаги и лентами».

– Хорошо французам, – проворчал Беневоленский. – У них даже Сибирь – в тропиках.

– «В распоряжение московского Комитета грамотности поступило крупное пожертвование от лица, пожелавшего остаться неизвестным, – продолжала Наденька. – Согласно воле пожертвователя вся сумма в сто тысяч рублей должна быть употреблена на покупку библиотек для воскресных школ…»

– Интересно было бы узнать имя щедрого жертвователя, – улыбнулся Иван.

– А будто вы не знаете? – живо откликнулась Феничка. – Так то ж Роман Трифонович, не сойти мне с этого места!

Все рассмеялись, и Надя начала читать дальше:

– «В Москве открыты две столовые, в которых будут бесплатно обедать пятьсот малоимущих студентов».

– Вот это славно, – сказал Аверьян Леонидович. – Ты много по урокам бегал, Иван?

– Достаточно. Хотя официально и не считался малоимущим. Как-то и времени вроде хватало, и сил.

И вздохнул вдруг, нахмурившись. Беневоленский посмотрел на Надю, и она тотчас же продолжила:

– «Весь мир облетело известие из Иркутска о том, что знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен, отправившийся три года назад на север на корабле “Фрам”, достиг Северного полюса, где и открыл новую землю».

– Вот куда в двадцатом столетии Россия своих каторжан ссылать будет, – сказал Иван. – Оттуда уж не убежишь. Ни при какой дифтерии с эпидемией.

– Невыгодно, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Проще всю Сибирь заборами огородить.

Так они шутили и смеялись допоздна, а на следующий день рано утром, еще до завтрака, Надя исчезла. Феничка тут же призналась, что знает, куда подевалась ее барышня, и для тревог решительно нет никаких оснований. Но все дружно решили погодить с завтраком, пока Наденька не вернется.

А Наденька рыдала на могилах под двумя белыми мраморными крестами.

– Маменька, батюшка, простите меня, простите… Ради бога, простите меня…

Ей необходимо было покаяние, но не пред иконным ликом, а над прахом родителей своих, вспомнить которых живыми она так и не смогла. Но это, как выяснилось, было не столь уж важным. Важным оказалось откровение и искренние слезы.

Вечером в канун Рождества Надя и Феничка принесли из дома все оставшиеся игрушки и вместе с крестьянскими ребятишками по-своему перевесили украшения, цепи и мишуру на высокой елке, вкопанной в центре села Высокое. А потом все – и Беневоленский с Иваном в том числе – пошли по традиции в церковь. Вечером того же дня к детям в Высокое приехали на санях Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Правда, Дед Мороз оказался без левой руки, но зато у Снегурочки была самая настоящая коса пшеничного цвета…

И начались Святки. До четвертого января – естественно, отметив дома Новый год с шампанским, – катались на тройке и на санках, по просьбе Наденьки расчистили снег на ближнем пруду, где и чертили лед коньками. И все это вместе с молодежью и детворой, с шутками, снежками, смехом и весельем.

В канун Крещенья Наденьке вздумалось погадать. Руководством к гаданию она избрала балладу Жуковского «Светлана» и велела Феничке раздобыть все, что упоминалось в ней в качестве подспорья для девичьего крещенского обряда. Башмачок, воск, зерно и курицу: драгоценности она решила попросить у Ивана.

– Вот уж не думал, что вас, образованного человека да еще и писательницу, могут увлечь девичьи гаданья. – Беневоленский явно разыгрывал удивление: просто хотелось поговорить.

– Я такая же девица, как и те, кто сотнями лет гадал в этот вечер, – улыбнулась Надежда.

– И вы верите столь же искренне, сколь верили ваши прапрабабки?

– Мне тоже интересно знать, что меня ожидает в девяносто шестом году. Разница лишь в том, что мои прапрабабки боялись играть с судьбой в открытую, а я не боюсь.

– Не боитесь потому, что знаете беспредельную ничтожность совпадений, или в силу собственного характера?

– Точнее, просто из любопытства. – Наденька помолчала и спросила вдруг: – Я похожа на Машу?

– Скорее нет, чем да. Вас это огорчило?

– Если разъясните, не огорчит.

Беневоленский грустно улыбнулся. Вздохнул, взгляд стал печальным и – строгим.

– Маша погибла в вашем возрасте, Наденька. Вы позволите называть вас просто по имени?

– Безусловно, Аверьян Леонидович. Мне это приятно.

– Обаяния в вас, пожалуй, столько же, но у вас оно – озорное, а у Машеньки – скромное. Я вас не обидел?

– Отнюдь.

– Обидел, конечно обидел, – расстроился Аверьян Леонидович. – Но вы спросили прямо, и ответ должен быть прямым. Условились?

– Условились.

– Маша рано осознала свой долг и исполнила его до конца. Броситься на бомбу во имя спасения детей… Не каждый мужчина решится на такое, далеко не каждый.

– Мы преклоняемся перед ее мужеством, но…

– Преклонение через «но»?

– Бомба остается бомбой.

– Судите по нравственности того времени.

– Всегда и всё?

– Всегда и всё. И никогда – по нравственности сегодняшнего дня. Тогда это считалось героизмом, теперь – терроризмом, но людям не дано жить чувствами будущих поколений.

– А вы способны сегодня бросить бомбу?

– Я и тогда понимал бессмысленность подобных актов, почему и порвал с народовольцами. И… и с Машенькой, если быть до конца откровенным.

– Порвали с Машей? – тихо спросила Наденька.

– Точнее, мы разошлись по идейным соображениям. Я очень любил ее. Очень. И все время надеялся, что она поймет меня и вернется. – Беневоленский тяжело вздохнул. – А потом узнал, что она не вернется уже никогда…

– А у вас не возникало ощущения, что вы предали ее?

– Вот сейчас в вас заговорила Маша, – невесело усмехнулся Аверьян Леонидович. – Бескомпромиссная Маша…

– Вы не ответили на вопрос.

– Видите ли, Надин, мы с Машенькой занимались революционной деятельностью, но пошли разными дорогами не из-за семейной ссоры, моды или каприза, а следуя только собственным убеждениям. Если предательством вы называете то, что я не смог ее переубедить,

то по женской логике вы абсолютно правы. Муж обязан удерживать жену от опрометчивых, а тем паче от роковых шагов. Но революционная борьба не имеет права ориентироваться на семейные отношения. Когда речь идет о судьбе народа…

– Господи, да при чем тут народ? – как-то очень по-взрослому вздохнула Надя. – При чем народ и вся ваша революционная деятельность, когда погибла моя сестра?.. Извините, Аверьян Леонидович, у меня… Меня ждет моя деятельность.

И вышла. А Беневоленский, сломав голландскую сигару, запас которых доставил в Высокое заботливый Евстафий Селиверстович, прошел в буфетную, налил большую рюмку водки и выпил ее одним глотком на глазах изумленной прислуги.

6

За ужином оживленным казался только Иван, даже как-то излишне оживленным. Надя и Беневоленский отвечали односложно, разговоров не поддерживали и улыбались несколько напряженно. «Что это с ними стряслось? – тревожно думал Иван, упорно пытаясь шутить. – Надутые и какие-то очень уж серьезные…»

– Петр Первый заменил славянский дуб колючей германской елью под новый, тысяча семисотый год. Может быть, он имел в виду, что нашего брата-русака следует гладить только по шерстке?

– Ваня, среди бабушкиных драгоценностей найдется перстень и изумрудные серьги? – неожиданно спросила Надежда, никак не отреагировав на довольно неуклюжую шутку.

– Бабушкиных драгоценностей вообще нет. Варвара продала их с нашего общего согласия, чтобы помочь Роману стать на ноги.

– И не выкупила? – ахнула Наденька.

– Так они же проданы, а не заложены, Наденька. Где их теперь искать?

– Какая жалость…

– «В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны…» – вдруг процитировал Аверьян Леонидович. – А обручальное кольцо, Надин, вас не устроит? Когда-то Машенька надела его мне на палец, и с той поры я его не снимал. – Он протянул через стол руку. – Тяните, Наденька, тяните изо всех сил, оно срослось со мной.

Надя посмотрела ему в глаза, улыбнулась:

– А вы извините меня за резкость?

– Не было никакой резкости. Забудьте и тащите кольцо.

– Надо палец намылить! Палец!

Обрадованный явным улучшением погоды за столом, Иван сам принес мыло, намылил кожу вокруг кольца и наконец с большим трудом стянул его.

– Не больно, Аверьян?

– Терпимо.

– Благодарю, Аверьян Леонидович, – сказала Надя. – Утром верну в целости и сохранности. А сейчас сыграю для вас, пока вы будете курить свои противные сигары.

Они перешли в гостиную. Мужчины неспешно, со вкусом курили, а Надя села к роялю и по памяти, без нот, играла им, пока в дверь осторожно не заглянула Феничка.

– Пора, барышня!.. – загробным шепотом возвестила она.

– Пора девичьих забав, – пояснила Наденька. – Извините нас, господа.

Девушки поднялись в спальню Нади, зажгли свечи, потушили яркую керосиновую лампу. Сразу почему-то стало тревожно, и Надя сказала приглушенно:

– Зеркала надо завесить.

– Как при покойнике, что ли?

– Не знаю, но так полагается.

– Ой, не нравится мне все это, – вздохнула Феничка, занавешивая оба зеркала. – Ну а теперь что?

– Ждать, когда полночь пробьет.

– Страсть-то какая…

Девушки уселись рядом и примолкли. Чуть потрескивая, горели свечи, тени дрожали на стенах. Было жутковато, и Феничка вцепилась в руку своей хозяйки. Наконец снизу, из гостиной, донеслись гулкие удары напольных часов.

– Нечистой силы время пробило, – прошептала Феничка. – А теперь что?

– Теперь?.. За ворота – башмачок. Ты принесла башмачок?

– Принесла. Во двор, что ли, с ним выходить? Обсмеют.

– Давай в окно выкинем.

– Так окна на зиму заклеены.

– Тогда… – Наденька задумалась. – В форточку бросай.

– Я?

– Ну, у нас же один башмак.

Феничка покорно влезла на подоконник, открыла форточку. Надя подала старый башмак, и горничная тут же вышвырнула его.

– За ворота бросила?

– В сад. Окна-то ваши в сад выходят, а двор эвона с другой стороны совсем.

– Ну ладно, – согласилась Наденька и забормотала: – «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…» Тут у нас не совсем так, как у Жуковского. Дальше – «снег пололи». Ты умеешь снег полоть?

– А зачем его полоть? – удивилась Феничка и наставительно пояснила: – Полют грядки, барышня.

– Что-то пока у нас плохо получается, – вздохнула Надя. – После этого… После этого нам придется все равно выходить во двор.

– Зачем?

– Под окнами слушать.

– А, это интересно! – оживилась Феничка.

Девушки быстро оделись и через черный ход осторожно, боясь скрипнуть ступенькой, спустились во двор.

– Слушай очень внимательно, это важно, – прошептала Надя. – За мной к первому окну, где виден свет.

Они прокрались к освещенному окошку и замерли, навострив уши.

– Молчат там…

– Тихо!.. – зашипела Наденька.

– На круг – две тысячи, – вдруг еле слышно донесся мужской голос. – Не мало, не мало…

– Это Евстафий Селиверстович, – почти беззвучно пояснила Надя. – Отчет пишет…

– Чего пишет?

– Тише!..

– Конечно, ради праздника ничего не жаль, однако… – бормотал тем временем Зализо.

Наденька оттащила Феничку от окна:

– Отчет – это неинтересно. Пойдем к следующему окну.

В следующем окне была открыта форточка и распахнуты шторы. Девушки подкрались, осторожно заглянули.

Это была гостиная. В креслах уютно покуривали Беневоленский и Иван.

– При семидневной обороне Шипки я окончательно понял, сколь опасна революция для России. Представь себе обезумевшую толпу под зеленым знаменем Пророка и столь же обезу-

мевшую – под русским знаменем. Я все время видел перед глазами эти толпы вооруженных людей, когда залечивал отпиленную по локоть руку.

– Ты не прав, Аверьян. То была война за свободу.

– Я не говорю об оценках, поскольку то, что одна сторона считает плюсом, противоположная считает минусом, и наоборот. Я говорю об ожесточении людей. Безумном, неуправляемом ожесточении… Великая Французская революция тоже была борьбой за свободу, но сколь же кровава и жестока она была. А революция в России обречена на еще большую кровь.

– Мы, по-твоему, более жестоки?

– Три четверти нашего народа обижали, угнетали и держали в нищете добрые полтысячи лет. Такое не забывается, Иван, вспомни разинщину и пугачевщину.

– Когда это было…

– Вчера, – строго сказал Беневоленский. – Народ не знает истории, для него существует только вчера и сегодня. И – завтра, если в этом «завтра» ему пообещают молочные реки и кисельные берега.

Феничка разочарованно вздохнула:

– Скушно, барышня…

– Подожди, – строго шепнула Надя.

– …В городах станут вешать генералов и сановников, в деревнях – помещиков, в российской глухомани – офицеров и чиновников. Россия не просто огромна и косматa, как мамонт, – Россия раздроблена. Две столицы и сотни губернских городов, губернские города и уезды, уезды и миллионы деревень, хуторов, аулов, кишлаков. И в каждом – свой уклад, свои отношения, свои начальники, чиновники, богачи и бедняки. И везде, везде решительно господство произвола, а не закона. Произвола, Иван, а произвол порождает обиженных. И толпы этих обиженных ринутся давить обидчиков, как только почувствуют безнаказанность. Поэтому бороться за свободу у нас можно только постепенно, только парламентским путем…

– При отсутствии парламента? – усмехнулся Иван.

– Вот! – громко сказал Аверьян Леонидович. – Ты сам обозначил первый пункт программы: борьба за конституционную монархию как первую ступень буржуазной демократической революции. А далее – только через Государственную думу, или как там еще будет называться этот выборный орган. Иначе – неминуемый бунт. Бессмысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа…

Устраиваясь поудобнее – ноги затекли, – Наденька не устояла и съехала вниз. Беневоленский замолчал, встал с кресла.

– Под окном кто-то…

– Бежим!.. – еле слышно скомандовала Надя и первой бросилась бежать.

Девушки влетели в дом, по черной лестнице через две ступеньки помчались наверх и перевели дух только в комнате, где горели свечи.

– Хватит с нас, – задыхаясь сказала Наденька.

– А как же курица? – спросила Феничка. – Я черную принесла, у меня в корзинке сидит.

– Мы узнали то, что нас ожидает, – строго пояснила Надя. – Осталось разгадать. Ступай к себе и разгадывай. Только сначала зажги лампу и погаси свечки.

– Покойной ночи, барышня, – радостно сказала горничная, видевшая в гадании очередную барскую причуду.

– Спокойной ночи.

Наденька разделась, накинула ночную рубашку, забралась под одеяло и начала размышлять над услышанным. Но мысли разбегались и путались, и через несколько минут она уже сладко спала.

Утром она спустилась в столовую несколько настороженной, но никто о гадании и не вспомнил. Даже Аверьян Леонидович, когда Надя надела ему на палец обручальное кольцо.

Может быть, ждали, что она сама расскажет, но тут бесшумно вошел Евстафий Селиверстович, смешав все ожидания.

– Доброго утречка и приятного аппетита. Иван Иванович, вас староста из Высокого спрашивает. Говорит, мол, на минуточку, так что извините великодушно.

Иван тотчас же вышел, отсутствовал недолго, а вернулся явно огорченным.

– Что-то случилось? – спросил Беневоленский.

– Да так, ерунда. – Иван невесело усмехнулся. – С елки в селе ночью кто-то все украшения снял. Частью побил, частью унес. Мелочь, конечно, а неприятно.

– Какая гадость! – громко сказала Надежда.

– Раньше этого не водилось.

– Там же – мамины подарки. Ты помнишь мамины подарки? Она же сама, собственными руками делала их, мне Варя рассказывала!.. Мы им праздник устроили, а они…

– Смена веков есть смена знамен, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Так, кажется, говаривал ваш батюшка?

– Прости, Ваня, но я уеду. – Надежда бросила вилку. – Вот они, счета. Две тысячи… Две тысячи воров и хамов, видеть их не могу!

И быстро вышла из комнаты, почувствовав, что слезы вот-вот потекут по щекам.

Мужчины продолжали завтрак в молчании. Потом Иван вдруг встал, вышел в буфетную и принес графинчик с двумя рюмками. Молча налил.

– Водка? – насторожился Беневоленский.

– Ты прав, Аверьян. И отец прав. Смена знамен!

И залпом выпил рюмку.

Через сутки они тихо и грустно провожали Наденьку. Феничка уже прошла в вагон, распаковывалась в купе, а Надя смотрела на Ивана в упор, уже не скрывая слез.

– Береги себя, Ваничка. Умоляю тебя.

– Я поживу здесь немного, Наденька, – со значением сказал Беневоленский.

– Приезжайте к нам, Аверьян Леонидович. Мы будем очень рады вас видеть. И Варя, и дядя Роман, и я. Вы же – Машина любовь, это больше, чем просто родственник.

– Непременно приеду, Наденька. Только, если позволите, после коронации. Когда в Москве потише станет. Мой поклон всем Олексиным и Хомяковым.

Девушки приехали в Москву на следующий день. В первый же вечер, за ужином, Надю подробно расспрашивали о житье в Высоком. Но отвечала она скованно и неохотно, а о разоренной елке вообще умолчала. Но после ужина уединилась с Варварой.

– Я покаялась на маминой могиле. Теперь хочу покаяться перед тобой.

– Стоит ли ворошить старое?

– Стоит. Я вас всех обманула. Обманула, понимаешь? Не знаю, почему и зачем. Ради самоутверждения, что ли.

– Что значит, обманула? Поясни.

– А то значит, что подпоручик Одоевский просидел до четырех утра в моем будуаре в присутствии Грапы, которой я запретила говорить правду.

Варвара молча смотрела на сестру потемневшими от гнева глазами.

– Что ты сказала?

– Твоя сестра – сама невинность, Варвара, маменькой клянусь, – неуверенно улыбнулась Наденька.

– Ты… Ты – сквернавка! Насквозь испорченная сквернавка! Ты же поставила под пулю Георгия!..

– Мама простила меня, – тихо сказала Надежда. – И велела сказать тебе всю правду. Я слышала ее голос, Варенька, слышала…

И, покачнувшись, стала медленно оседать на пол. Варя подхватила ее, закричала:

– Врача! Врача, Роман, немедленно врача!..

Глава третья

1

В конце января в Москву прибыл министр императорского двора граф Воронцов-Дашков. Двадцать седьмого он посетил Ходынское поле, где осмотрел работы по возведению Царского павильона в русском стиле, и в тот же день уехал в Петербург, оставив своим представителем генерала Федора Ивановича Олексина.

– В Рескрипте государя генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу указано оказывать полное содействие нам, то есть Министерству двора, в коронационных приготовлениях, – с удовольствием рассказывал Федор, сразу же по отбытии непосредственного начальства навестивший родственников. – Чтобы ты, Роман Трифонович, имел представление об их размахе, скажу, что, например, колокольню Ивана Великого и кремлевские башни осветят четырнадцать тысяч лампочек. Четырнадцать тысяч!.. Во всех башенных пролетах зажгут разноцветные бенгальские огни, а стены Кремля унижут лампионами со стеариновыми свечами. И все не на глазок, не на русский авось, а по рисункам Каразина, Прокофьева и Бенуа.

Надя слушала с интересом, Варвара вежливо удивлялась, а Роман Трифонович невозмутимо посасывал незажженную сигару.

– Идут немыслимые расходы, немыслимые! Граф приказал мне проверить кое-какие счета, и я выяснил, что, например, кумачу уже закупили свыше миллиона аршин по цене семьдесят пять копеек за аршин, тогда как нормальная цена – двадцать копеек!

– Двадцать две, – уточнил Хомяков.

– Это ж сколько денег застрянет у откупщиков в карманах!

– Я обошелся без откупщиков.

– Ты?..

– Ну а чего ж мелочиться-то? – усмехнулся в аккуратную надушенную бороду Роман Трифонович. – Казна платит напрямую, Федор Иванович, грех такой случай упускать.

– Но как тебе удалось?

– Еще до твоего приезда меня вызвал великий князь и укорил, что купцы мало жертвуют. Я говорю: «Совсем не жертвуют, Ваше Высочество, потому как не ведают, достигнет ли их жертва намеченной цели. А люди они – практические». – «Но это же непатриотично!» – возмутился Сергей Александрович. «А откупщиков меж нами и вами ставить патриотично, Ваше Высочество? – спрашиваю я тогда. – Коли сойдемся на прямых поставках, так, глядишь, и жертвовать начнем».

– И он?.. – с замиранием сердца спросил Федор Иванович.

– Сошлись, генерал, сошлись. И не только на кумаче.

– Это же миллионы…

– Если позволишь, Варенька, мы бы прошли в курительную. Вели туда десерт подать. Благодарю, дорогие мои, обед был чудным. Идем, генерал.

В уютной, обтянутой тисненой кожей курительной они уселись в большие кожаные кресла и молча курили, пока накрывали на стол. Два лакея в расшитой галунами униформе принесли фрукты, сыр, французский коньяк, ирландское виски, голландский джин и удалились.

– Н-да, – протянул Федор Иванович, не сумев скрыть завистливого вздоха. – Деньга к деньге…

– Как тебе служится при третьем государе? – спросил Хомяков, напрочь проигнорировав подвздошную интонацию родственника.

– Дед и отец благоволили ко мне, а этот… Не знаешь, с какой ноги танцевать.

– Это при твоем-то опыте?

В тоне Романа Трифоновича слышалась неприкрытая насмешка. Генерал нахмурился, даже посопел. Раскочегарил длинную голландскую сигару, сказал приглушенно:

– Кшесинская и ее компания до женитьбы спаивали государя ежедневно. Алиса взяла его в руки, до смерти напугав отцовской внезапной кончиной, но прошлое распутство даром не прошло. То ли увлечение горячительными напитками, то ли – между нами, Роман Трифонович, только между нами! – удар самурайским мечом по голове. Царь слушается всех родственников одновременно. – Федор Иванович помолчал, пригубил коньяк. – Великий князь Павел говорил своим конногвардейским приятелям, что в семье постоянные ссоры и царя никто не боится. Ты можешь себе представить, чтобы на Святой Руси не боялись помазанника Божьего? Он бесхребетен. Может быть, пока.

– Однако в своем обращении к дворянам – так сказать, при заступлении в должность – Николай был достаточно суров. Я запомнил его выражение: «Свободы – бессмысленные мечтания».

– В первом тексте было – «преждевременные». Документ проходил через наше министерство.

– И вы, следовательно, его несколько поправили.

– Слово «преждевременные» заменил на «бессмысленные» лично дядя царя. Великий князь Сергей Александрович, ваш генерал-губернатор, дорогие москвичи.

Роман Трифонович задумчиво жевал сочную грушу, не потрудившись очистить ее от кожуры. Генерал усмехнулся:

– Почему тебя заинтересовала эта замена одного прилагательного на другое? Какая, в сущности, разница? Слова есть слова.

– В устах государя всея Руси слова есть программа.

– У него нет никакой программы.

– Тогда он поступил необдуманно. Паровоз остановить невозможно. Раздавит.

– Это наши-то бомбисты-революционеры? Господь с тобой, Роман Трифонович.

– Я имею в виду промышленный капитал, Федор Иванович. Он не может нормально развиваться в условиях старой формы правления. А ведь только этот паровоз способен тащить Россию вперед. Казенные заводы делают пушки, но сталь для них поставляют частные фирмы и товарищества, следовательно, им нужно предоставить те же права, что и казенным предприятиям. И в первую голову уравнять в налогах, а для малых и развивающихся частных фабрик непременнейшим образом ввести налог льготный.

– Чтобы хозяева гребли миллионы?

– Чтобы поскорее дали продукцию и увеличили число рабочих. Разбогатеют – сами миллионы вернут.

– Страждуете вы своим, Роман Трифонович, – усмехнулся Олексин. – А казна пустеет. Одна коронация сколько миллионов вашему брату отвалит?

– Жить надо по карману, – буркнул Хомяков. – А мы – по амбициям. Великая держава, великая держава! Великая держава не та, что может моим кумачом всю страну завесить, а та, в которой народ достойно живет.

– А традиции?

– А традиции, генерал, не в византийской пышности дворцов да церквей. Они – в скрытой теплоте патриотизма, как сказал граф Толстой. Скрытой, подчеркиваю, русской. Застенчивой, если угодно. Кстати, где Василий Иванович?

– В Казани. Толстовщину проповедует. Совсем некстати, между прочим.

– Чем скромнее вера, тем больше от нее проку.

– Вера у нас – православная.

– Вера не нуждается в прилагательных, если она вера, а не суесловие, Федор Иванович.

– Уж не толстовец ли ты, Роман Трифонович?

– Я человек практический. – Хомяков раскурил новую сигару, усмехнулся: – Опять пикируемся.

– По семейной традиции, – улыбнулся Олексин.

– Скорее по способу передвижения. Я еду на своем паровозе, а ты трясешься на казенной тройке с бубенцами.

– У меня же нет твоих миллионов.

– Свои миллионы я сделал сам, дважды начиная с нуля. Впрочем, дело не за миллионами и не за казенными тройками. Дело за людьми, способными к самостоятельным решениям и личной ответственности. И они придут. Придут в грядущем веке, Федор Иванович. Вот за них и содвинем бокалы.

И звонко чокнулся с генералом.

2

После признания сестре, обморока и слез Надя окончательно пришла в себя, вернув и прежнюю улыбку, и лукавые глаза. Самая пора была приступать к ранее оговоренной программе: приемы, званые вечера, балы. Однако Надежда категорически от всего отказалась:

– Я начала роман. Сейчас не до развлечений.

И впрямь допоздна засиживалась в своем кабинете, что-то писала, но что – не говорила и тем более не показывала. Варвара пыталась расспросить горничную, но Феничка, таинственно округлив глаза, строго твердила одно и то же:

– Говорит, созрел. Этот… замысел.

Особо доверительные отношения, сложившиеся между Наденькой и Романом Трифоновичем, предполагали искренность, и Хомяков пошел к Наде за разъяснениями.

– Никакой роман ты не пишешь, не обманывай меня, Надюша. Если дело и впрямь в новом романе – житейском, я имею в виду, – так скажи. Я пойму и отстану.

Надя невесело улыбнулась:

– Вероятно, дело не в романах, а в их отсутствии, если уж говорить правду. Только не посвящай в этот разговор Варю, очень тебя прошу.

– Так разговор-то как раз пока и не получается.

Наденька молчала, покусывая губки и не поднимая глаз. Роман Трифонович обождал, вздохнул, погладил ее по голове и сказал:

– Маменьки с батюшкой у тебя нет, Надюша, и выходит, что я твой самый близкий друг. А другу в жилетку принято плакаться.

– Плакаться я не собираюсь, дядя Роман.

– Прости, не то словечко выскочило. Но поделиться тем, что тебя тревожит, ты можешь?

– Это как-то… – Надя беспомощно улыбнулась. – Странно прозвучит.

– Я постараюсь понять.

Наденька долго не решалась, избегала смотреть в глаза, неуверенно улыбалась. Потом вдруг постучала правым кулаком в левую ладонь, собралась с духом и выпалила:

– Почему влюбляются не в меня, а в моих подруг?

Роману Трифоновичу понадобилось немалое усилие, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Но он сразу понял, что огорчает его любимицу, сообразил, как проще всего развеять эти огорчения, но начал почему-то как бы издалека:

– Твоя матушка влюбилась в своего барина, твоего отца, когда ей было четырнадцать, а ему – за тридцать. Машенька, царствие ей небесное, была младше своего избранника Аверьяна Леонидовича Беневоленского на добрых десять лет. Да и я, сама знаешь, тоже на десяток

постарше Вареньки. Стало быть, это у вас в крови, дорогие сестрички Олексины. Ты ведь тоже не теряла головы от подпоручика Одоевского. Так, самолюбие тешила, разве я не прав?

Надя пожала плечами и улыбнулась.

– А причина в том, что ты просто умнее своих сверстников. Их сейчас на глупышек тянет, что тоже понятно, потому что самолюбие щекочет.

– Ждать, пока поумнеют?

– И слава богу. Каждому цветку – свое время цветения. Плюнь на все и жди своего часа. По рукам, что ли?

– По рукам, дядя Роман. – Наденька невесело вздохнула. – Только Варе ни слова.

– Ни полслова, Надюша, – улыбнулся Хомяков.

Однако полслова жене все же сказать пришлось, поскольку о беседе наедине Варя узнала от своей горничной Алевтины. Женщины преданной, но довольно пронырливой и постной.

– Что сказала Надя?

– Не получился у нас разговор.

– Даже у тебя? – Варвара озабоченно вздохнула. – Может быть, Николая попросить?

Однако призвать на помощь Николая оказалось делом затруднительным, да и не совсем корректным. Мало того что он был по горло занят по службе, в семье родилась вторая дочь, названная Варенькой в честь крестной матери. А первая, Оленька, часто болела, и тут уж было не до развлекательных программ Варвары.

Однако Хомяков, прекратив лобовые атаки, неожиданно предпринял обходной маневр, и добровольный затвор разочарованной писательницы все же удалось нарушить.

– Во вторник Федор просил принять весьма нужного ему господина, Варенька, – сообщил как-то Роман Трифонович. – Я рад этому обстоятельству, поскольку немного знаком с ним.

– Чем же он тебя очаровал?

Муж с женой разговаривали наедине, но Роман Трифонович счел необходимым оглянуться и понизить голос:

– Ему очень понравился Надюшин рассказ.

– Он издатель? – оживилась Варвара.

– Нет. Он действительный статский советник, но Федор связан с ним какими-то служебными отношениями. Человек весьма и весьма достойный. Даже более чем.

Последний аргумент был настолько несвойствен Хомякову, что Варвара приподняла брови:

– Он пожалует с супругой?

– Представь себе, он старый холостяк.

– Очень старый?

– Когда о мужчине говорят «старый холостяк», имеют в виду не возраст, а семейное положение. Умен, образован, с приличным состоянием и отменно воспитан.

– Боюсь, Надежда заартачится, – сокрушенно вздохнула Варя.

– Уговорю! – заверил Хомяков.

Роман Трифонович уговорил Наденьку довольно просто, потому что знал безотказный аргумент:

– Мне этот визит нужен, Надюша.

– Ради тебя, дядя Роман, я готова на любые знакомства, – улыбнулась Надя.

В назначенный вторник в уютной малой гостиной собрались старшие: Варя, Хомяков, генерал Федор Иванович. Ждали семи, и с боем часов в гостиную вошел дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо.

– Его превосходительство господин Вологодов Викентий Корнелиевич! – торжественно возвестил он.

– Проси, – сказал Роман Трифонович. – И сообщи Надежде Ивановне, что у нас гость.

– Не придет, – вздохнула Варвара.

– Придет! – отрезал Хомяков.

И встал, поскольку в распахнутую дверь вошел еще достаточно стройный господин лет сорока пяти с посеребренными легкой сединой висками. Молча поклонился, приветливо улыбнувшись.

– Искренне рад, Викентий Корнелиевич, – сказал Хомяков, пожимая руку гостю. – Моя супруга Варвара Ивановна.

Вологодов учтиво поцеловал хозяйке руку, дружески раскланялся с генералом и сел в предложенное кресло.

– От вашего дворца снаружи веет очарованием Мавритании, а внутри – искренностью русского гостеприимства.

– Благодарю, – улыбнулась Варя.

– Мы старались, – проворчал Роман Трифонович: ему не понравился заранее сочиненный комплимент. – Слава богу, сюда перестали ходить ротозеи.

– Американцы утверждают, что реклама – двигатель торговли, – сказал Федор Иванович. – Признайся, ты думал об этом, Роман Трифонович.

– Просто был счастлив, что наконец-то могу исполнить обещание. – Хомяков весьма озорно подмигнул супруге. – Что слышно в высших московских сферах, Викентий Корнелиевич?

– Кажется, Петербург намеревается переселиться в Москву. Так что самое время учиться играть в белот.

– Любимая игра петербуржцев?

– Любимая игра государя. Говорят, он ежевечерне играет с Александрой Федоровной хотя бы одну партию.

– Нашествие Петербурга создаст огромные трудности не только для вас, Викентий Корнелиевич, но и для меня. – Генерал решил, что пришла пора брать быка за рога. – Достойно разместить великих князей, иностранных царствующих особ, многочисленных послов, сановников, петербургскую знать, не говоря уж о представителях дворянства, земств, иноверцев, – задача неблагодарная и весьма сложная. Есть над чем поломать голову.

– Может быть, мы начнем ломать наши головы завтра, в присутствиях? – улыбнулся Вологодов.

Появилась Надежда. Ее представили гостю, вежливо прикоснувшемуся к протянутой ею руке. После чего она села, слушала внимательно, вовремя улыбалась, но помалкивала. Вскоре попросили в столовую, где разговор несколько оживился.

– Я всегда побаивалась толпы, – говорила Варя. – Может быть, потому, что выросла в тихой, спокойной, патриархальной провинции. Мне просто страшно представить, что будет твориться в Москве во время коронационных торжеств, бесконечных парадов и любопытствующих толп на улицах. И… и, признаться, мне как-то не по себе.

– В Москве будет сплошной карнавал, сестра, – сказал Федор Иванович. – А карнавал всегда праздник. Не так ли, Викентий Корнелиевич?

– Если он в замкнутом пространстве. Во дворце, в саду. Уличные карнавалы не в традиции России. Мне посчастливилось побывать на карнавале в Риме, и я получил огромное удовольствие. Но мы не итальянцы. Вам приходилось бывать в Италии, Надежда Ивановна?

– Да, но не на карнавале. Может быть, поэтому итальянцы показались мне такими же русскими, только более экспансивными.

– Согласен, но позвольте добавить: и привыкшими к уличному общению. Мягкий климат приучил их к жизни на площадях, дома они лишь ночуют.

– Вероятно, вы правы, – с ноткой вежливого равнодушия согласилась Наденька.

– А у нас – девять месяцев зима, – проворчал Хомяков. – Какие уж там карнавалы. Напьются, наорутся да передерутся – вот и весь карнавал.

– Для народа будет организован праздник на Ходынском поле, – сказал генерал Олексин. – С раздачей подарков, бесплатными развлечениями и под надзором полиции.

– Праздник под надзором, – усмехнулся Вологодов. – Это действительно в русских традициях: веселись, но оглядывайся.

– Русским оглядываться полезно, – солидно вставил Федор Иванович. – Уж очень натура у нас безоглядная.

– Дядя Роман, а давайте маскарад устроим? – вдруг предложила Наденька, но тут же смутилась, начала краснеть и сердито сдвинула брови.

– Прекрасная мысль, Надюша! – подхватил Роман Трифонович. – Да на Масленицу, а? Варенька, как ты на это смотришь?

– Мне очень по душе Наденькина идея.

– Решено! – воскликнул Хомяков, хлопнув ладонью по столу.

– В каком же костюме вы пред нами предстанете? – улыбнулся Викентий Корнелиевич. – Таинственной Семирамиды или очаровательной испанки?

– Сделаю все возможное, чтобы вы меня не узнали, – отпарировала Надежда.

– А если узнаю?

– Преподнесете цветок.

– Считайте, что он уже у вас, Надежда Ивановна.

Вечером, когда все разошлись, Варвара осторожно спросила:

– Ну, как тебе Викентий Корнелиевич?

– Старик! – отрезала Надежда. – А маскарад все равно будет. Вот посмотришь.

– Если уж Роман сказал…

– Только знаешь что? – перебила Наденька. – Он ни в коем случае не должен меня узнать.

– Кто не должен узнать?

– Ну, этот… старик.

– Допустим. Но что из этого следует?

– А то, что я должна что-то придумать. Никаких Семирамид и испанок! Ты поможешь мне, Варенька?

– Обещаю. – Варя поцеловала Надежду в лоб. – Пусть тебе приснится необыкновенный костюм.

3

Костюм не приснился, но Наденька все же кое-что придумала. Во-первых, глухие маски вместо общепринятых полумасок, а во-вторых, номера в виде броши на левом плече для всех участниц.

– Номера каждая маска должна тянуть сама.

– Зачем такие сложности? – удивилась Варя.

– Для того чтобы победительница была неизвестна до решения жюри и получила хороший приз. – Хомяков улыбнулся. – Я угадал ваше желание, мадемуазель Фронда?

– Дядя, ты – чудо!

– Представляю, как же тебе будет обидно, если приз уплывет в чужие ручки.

– Не уплывет! – хвастливо сказала Надежда.

– А вдруг?

– Не знаю, не знаю, – проворчала Варвара. – Согласятся ли гостьи участвовать в подобной лотерее?

– Тряхнем мошной! – усмехнулся Роман Трифонович. – Приз будет от Фаберже, а броши с номерами включат в свои драгоценности даже проигравшие дамы.

– Нет, сударь, вы все-таки – купчина, – вздохнула Варя.

Дамы с энтузиазмом откликнулись на приглашение участвовать в маскараде с заранее оговоренными условиями и призом победительнице. Проигрывать в такой ситуации было чересчур уж обидно, и как только определился круг соискательниц, Наденька устроила тайное совещание со своей горничной.

– Феничка, ты сможешь разузнать, какие костюмы появятся на нашем маскараде?

– Так у них, поди, тоже горничные есть.

– И все расскажут?

– Обязательно даже, – уверенно сказала Феничка. – Если я про вас расскажу, то и они никак не удержатся. Вы кем сама-то будете, барышня?

– Семирамидой.

– А как она выглядит-то, эта Семирамида?

– Таинственно, – округлив глаза, прошептала Надя. – Настолько, что и сама не знаю.

На следующий день Феничка отправилась на разведку, а Наденька принялась размышлять о костюме. Никакой Семирамидой она, естественно, быть не собиралась, но не хотела ни с кем советоваться, потому что ее костюм должен был оказаться сюрпризом для всех. Но в голову, как на грех, ничего путного не лезло. А к вечеру явилась Феничка и чуть ли не с порога отбарабанила:

– Цыганки, испанки, турчанки, мавританки, Клеопатры, Карменки.

– Кто?

– Так сказали. Госпожа, мол, решила быть Карменкой и костюм уже заказала.

– Ах, Кармен, – сообразила Наденька. – Еще кто?

– Миледи, что ли. Потом японка, черкешенка и китайка…

Феничка замолчала, спросила удивленно:

– Что это вы так на меня смотрите, барышня?

– Раздевайся, – вдруг скомандовала Наденька.

– Чего?..

– А того, что мы с тобой одного роста, и фигуры у нас одинаковые. И я хочу примерить твое платье.

– Капризов у вас… – недовольно сказала Феничка, но платье сняла.

Платье оказалось впору, требовалось лишь чуть убрать в боках. Надя повертелась перед зеркалом, с каждым поворотом делаясь все серьезнее.

– Семирамидой будешь ты, – твердо сказала она. – А я буду горничной.

– Не буду я никакой…

– Будешь!

– Это же обман, а никакой не маскарад.

– Маскарад и есть обман. Обман зрения.

– Вы же – темно-русая. А у меня коса – вона какая.

– Спрячем под короной.

– А номера как же?

– Номера… – Наденька задумалась. – А номера выдадут в самом конце, на парад-алле! И я дядю уговорю.

– Вы-то уговорите, а мне дура дурой быть, да? – обиженно спросила Феничка. – А ну как скажут чего по-французски?

– Улыбнись и пальчик к губкам прижми. Мол, боюсь, что узнаете по голосу.

– А если, не дай бог, кто танцевать пригласит? Тоже – пальчик к губкам, что ли?

– Не верю, что танцевать не умеешь. Не верю, и все.

– Да что я умею-то? Кадриль с вальсом?

– Вальс – это замечательно. Кадрили не будет, от мазурки откажешься, а остальному я тебя научу.

– Ох, барышня, да не выйдет у нас ничего! Чтоб горничной стать, это ж сколько учиться надо.

– Вот ты меня своему искусству и обучишь. И все у нас будет замечательно, Феничка, все-все, вот увидишь! Главное, как нам дядю уговорить…

– И горничные в масках? – недовольно спросил Роман Трифонович. – Ну, Надюша, это уж слишком. Это уж ни в какие ворота не лезет…

– А Наденька права, – сказала Варвара. – Все горничные – симпатичные милашки, и вы, сударь, на них пялиться будете, забыв про дам в масках.

– Да здравствует равенство! – воскликнула Надя. – Дядя, милый, двадцатый век в Россию стучится!

– Хорошо, хорошо, допустим. Что еще выдумала?

– Во имя грядущего равенства номеров не выдавать до самого конца. До парада-алле.

– И это правильно, – улыбнулась Варя. – Мы первыми введем в Москве соперничество без поддавков.

– Обложили! – Роман Трифонович беспомощно развел руками и расхохотался. – Правильно, мои дорогие, пусть играют по нашим правилам!..

– Я все уладила, – объявила Надя Феничке. – Теперь – курсы взаимного обучения. Я преподам тебе кое-какие манеры, а ты мне – уроки искусства хорошей горничной.

– Стало быть, так, – важно начала Феничка. – Самое главное – быть внимательной. Ну, скажем, крючочек случайно расстегнулся, поясок развязался или там волосок на плечи упал. Так сразу же подойти незаметно и тихо сказать: «Мадам, позвольте поправлю». И тут же быстренько поправить.

– Ну, это просто.

– А это уж как справитесь, – наставительно сказала Феничка. – В кармашках фартучка надо иметь две щетки, волосяную и платяную, и гребень. Подходить всегда сзади и останавливаться в полшаге за правым плечом. Если что-то важное случилось – ну, шов разошелся, – так надо сказать шепотом: «Мадам, извольте пройти в дамскую». А коли спросит: «А что?», надо просто повторить: «Извольте пройти в дамскую».

– Извольте пройти в дамскую, – послушно повторяла Наденька, загибая пальцы.

– И стоять в сторонке.

– И стоять в сторонке.

– И глядеть во все глаза.

– И глядеть во все глаза.

– Вот тогда, может быть, из вас толк выйдет, – важно сказала Феничка, еще раз придирчиво осмотрев свою хозяйку.

4

Костюм Семирамиды – якобы для Нади – взяли в костюмерной Большого театра. Он был слегка великоват, но Наденька сказала, что ради конспирации подгонит его сама, и тут же нарядила в него свою горничную.

– Сроду таких нарядов не носила! – Феничка была в восторге. – Да я в царском платье ничего уже не боюсь!

В назначенный день – выпало на Большой четверток, на Широкую Масленицу – к вызывающему как интерес, так и зависть особняку Хомякова начали один за другим подкатывать экипажи. Большие и малые кареты, открытые ландо и наемные пролетки разных калибров.

Высадив пассажиров, они сразу отъезжали, саженного роста швейцар провожал прибывших внутрь, где молчаливые лакеи в ливреях тут же быстро сортировали их, провожая участниц маскарада в дамские гардеробные, а мужей, отцов и мамаш передавали на руки дворецкому, который и вел их дальше. А гостей оказалось столько, что Евстафий Селиверстович охрип, выкрикивая титулы и имена. Варвара перебрасывалась с прибывшими несколькими вежливыми словами, но тут же оставляла их, как только появлялись новые гости.

А Роман Трифонович вынужден был расхаживать меж карточных столов, поскольку солидные отцы и азартные мамаши легкомысленных девиц, лихорадочно влезавших сейчас в маскарадные костюмы, умели коротать время только за игрой в винт. Хомяков считал карты пустым занятием, однако в данной ситуации отстаивать свои принципы было по меньшей мере неуместно, а вот свои дела – уместно вполне.

– Роман Трифонович, дорогой, вы игрок высокого полета, – жеманно обратилась к нему в общем-то малознакомая, но известная весьма влиятельным мужем, из последних сил молодящаяся дама. – Посоветуйте, что мне объявить?

– Назначьте четыре леве.

– Вы оч-чень рисковый мужчина.

– Риск – пятый туз в любой колоде, уважаемая Татьяна Кузьминишна, – усмехнулся Хомяков.

– Так вот в чем секрет ваших миллионов?

– Нет, мадам. Секрет – в градуснике.

– Каком градуснике?

– Которым я измеряю температуру риска.

– И что же он сейчас показывает?

– Около сорока по Цельсию.

– Тогда – четыре леве, господа! – громко объявила Татьяна Кузьминишна.

– Если выиграете, скажите о моем градуснике своему мужу, – улыбнулся Хомяков.

– А вы хитрец! – Дама погрозила пальчиком.

– Все дело в градуснике, Татьяна Кузьминишна, только в градуснике!.. – Роман Трифонович не терял времени даром. – Хитрость даст тысяч пять, не более того. А градусник способен умножить эту цифру на десять. Ваш супруг, я полагаю, хорошо разбирается в подобной арифметике?

– Какое лукавство!

Хомяков получил игривый удар веером по руке, ознаменовавший собою полное понимание. Супруг молодящейся дамы был осторожен и неинтересен решительно во всех отношениях, но обладал подписью, открывавшей замки армейских подрядов. До сей поры он ловко уклонялся от личных свиданий, однако решился-таки выслать в разведку кокетливую и весьма догадливую жену, и Роман Трифонович был доволен началом сегодняшнего вечера. Обещанная взятка в пятьдесят тысяч приносила двадцатикратный доход, по самым скромным расчетам.

Викентий Корнелиевич прибыл не первым, но в первой десятке. Карточные игры его не интересовали, почему он сразу же и угодил в руки генерала Олексина, тут же усадившего Вологодова в кресла у огромного окна.

– Вопрос размещения, дорогой Викентий Корнелиевич, есть одновременно и вопрос политический, – сразу же начал Федор Иванович. – Назову лишь несколько имен прибывающих на коронацию особ, и все вам станет ясным. Его Императорское Высочество эрцгерцог Людвиг-Виктор. Ее Величество королева эллинов Ольга Константиновна. Его Королевское Высочество наследный принц Датский. Его Королевское Высочество принц Неаполитанский Виктор-Эммануил. Его Королевское Высочество принц Георг Саксонский…

«Господи, как нудно, но с каким придыханием…» – уныло думалось Вологодову.

– Его Императорское Высочество принц Саданару-Фушими…

– Разместим, всех разместим, Федор Иванович.

Меж гостями ловко сновали черно-белые вышколенные официанты с напитками, легкой закуской, фруктами. При этом вручалось тисненное золотом меню торжественного обеда в честь победительниц маскарада, имеющего быть в субботу, в шесть часов вечера.

– Я не сомневаюсь, поскольку обязаны, Викентий Корнелиевич. Мой вопрос в том, как разместим? Как? Где? Вопрос максимальных удобств…

– Прекрасный обед, – сказал Викентий Корнелиевич, раскрыв внушительный переплет и просматривая меню. – Послушайте, генерал. «Первая перемена. Черепаший суп и перепелиный бульон со слоеными пирожками. К нему – мадера и херес. Вторая перемена. Рыбное тюрбо с голландским соусом. Рейнские вина “Ронталь” и “Редюсгейм”. Третья перемена. Бараний бок. Вина французские “Леовиль”, “Понтекане”. Двойной английский портер. Жаркое из кур с зеленью, к нему шампанское “Редерер”. Спаржа отварная с байонской подливой. Пудинг, сыры. Фрукты, мороженое, черный кофе “Маланг”, “Тьерибон”. Ликеры». Бог мой, придется сутки поголодать ради такого лукуллова пиршества.

– Вы – чревоугодник, Вологодов, – расстроился Олексин. – А у меня – хомут на шее.

– Грешен, Федор Иванович, грешен, – несокрушимо улыбался Викентий Корнелиевич. – Вкусно поесть – единственная утеха холостяка. А хомут ваш рассупоним, не терзайте себя понапрасну.

Уж чем-чем, а чревоугодником Вологодов никогда не был. Он был скорее аскетом, но надо же было как-то отвлечь генерала Олексина от скучных служебных разговоров…

Дирижер на хорах постучал палочкой, и оркестр заиграл полонез. Роман Трифонович, попросив извинения, вышел. За ним потянулись остальные, кроме совсем уж азартных игроков да старого генерала, задремавшего в кресле.

Распахнулись двери, и в зал из дамской половины торжественно вступили дамы в самых разнообразных костюмах и легких шелковых масках, полностью закрывавших лица. Они шли парами, а горничная, появившаяся следом за ними – тоже в маске, – осталась у входа. Дамы плавно, строго под музыку совершили неторопливый круг, и ожидающие у стен заскучавшие молодые люди тотчас же шагнули к ним.

Маскарад начался вальсом, и скромно стоявшая у входа в зал Наденька с любопытством наблюдала в основном за Семирамидой. Но вавилонская царица, танцевавшая с корнетом, вальсировала легко, непринужденно и с огромным удовольствием.

После первого танца маскарад считался открытым, дамы и молодые люди распались на пары и группы, по залу пронесся легкий говор. Наденька осторожно пробралась к своей Семирамиде, которой что-то весело рассказывал корнет, стала в полушаге за правым плечом, достала из кармана фартучка платяную щеточку, смахнула воображаемый волосок и шепнула:

– Ты – прелесть!

Викентий Корнелиевич тоже посматривал на Семирамиду, а когда возле нее очутилась горничная, принялся изучать царицу еще более пристально.

– Это не ваша очаровательная сестра, Федор Иванович?

– Не думаю. Слишком много блеска, а она у нас эмансипе не хуже покойной Маши.

– Эмансипе? – протянул Вологодов, переводя взгляд на отходившую от Семирамиды горничную. – Может быть, нигилистка?

– Фантазерка и выдумщица может быть кем угодно. Это она настояла на сплошных масках, мне по секрету сказала об этом Варвара. А в них все дамы одинаковы, как в преисподней. Вообще нынешние девицы, должен вам сказать, решительно отбиваются от рук. Моя дочь Ольга, например…

Оркестр заиграл контрданс, дамы и кавалеры тотчас же разошлись по противоположным шеренгам. Наденька, обучившая сообразительную и весьма способную Феничку несколь-

ким простым танцам с изящными позами и поклонами, а также основным движениям «языка веера», была убеждена, что ловкая горничная с этим справится, а потому решила усиливать собственные позиции. Ловко маневрируя по залу, подходила к не принимающим участия в маскараде немолодым дамам, оказывая им мелкие услуги, проводила какую-то матрону в дамскую комнату…

– Спасибо, милочка.

Наденька кланялась, стараясь помалкивать. Ее душил смех, поскольку роль некоего одушевленного предмета для услуг очень быстро позволила ей убедиться, что горничным часто приходится слышать то, от чего старательно оберегают ушки господские:

– Говорят, он даже маскарадные значки велел усыпать драгоценными камнями…

– Варвар…

– Рекомендую говорить проще: муж Варвары…

– Дивно, князь, дивно сказано!..

– А сколько вызывающих новшеств, обратили внимание? Маски даже для прислуги!..

– И все ради хамского самоутверждения…

– Не скажите, баронесса, полагаю, что не только для этого. Нас завоевывают новые гунны. В веке грядущем они намереваются стать господами…

Снова наступил перерыв. Наденька тут же пробралась к ловко обмахивающейся веером Феничке, оказала невесомую услугу, услышала не без ехидства сказанное «спасибо, милочка» и весело подумала: «Вот нахалка!..» И, чтобы не мешать, решила обойти маскарадную толкотню стороной.

– Простите, милочка, – вдруг сказал Вологодов, когда она поравнялась с креслами, где сидели ее брат и Викентий Корнелиевич. – Вас не затруднит принести нам коньяку?

«Не узнал!» – с торжеством подумала Надя. Молча поклонилась, прошла к ближайшему официанту и, вернувшись, поставила на стол два бокала.

– Благодарю. – Вологодов выдернул из букета розу и с улыбкой протянул ей.

«Узнал, – с огорчением решила Наденька. – Нет, нет, этого не может быть. Просто он старый ловелас, только и всего. Увидел очередную мордашку…»

Здесь было мало логики, поскольку спрятанную под глухую маску «очередную мордашку» никто увидеть не мог. Но так уж Наденька почему-то тогда подумала.

Вскоре последовала мазурка, от которой, как показалось внимательно наблюдавшей Наденьке, ее Феничка довольно мило отказалась. На этом бал-маскарад заканчивался, занятые в нем дамы под музыку покинули зал, молодые люди бросились утолять жажду, а Федор Иванович с облегчением вздохнул:

– Люблю хорошие финалы.

– Убеждены, что финал будет хорошим?

– Я не о призах. Я – о шумихе.

– Господа, минуточку внимания, – громко сказал Роман Трифонович, вставая. – Сейчас очаровательные участницы нашего маскарада в последний раз продефилируют перед нами, но уже с номерами на левом плече. От вашего решения зависит присуждение первого приза, посему очень прошу быть внимательными. Оркестр, парад-алле!

Оркестр заиграл марш, и в зал вышли все участницы. Испанки и мавританки, черкешенки и цыганки, турчанки, китаянки, римские матроны, Клеопатры и Марии-Антуанетты. Они по-прежнему были в масках, но теперь на левом плечике каждой участницы сверкал значок с номером. И последней шла горничная с номером «27», появление которой вызвало в зале удивленный шум. Маски, как было условлено, трижды обошли зал и остановились перед гостями.

– Все маски прекрасны, обаятельны и очаровательны настолько, что вопрос первенства не способно решить никакое жюри, – продолжал Хомяков. – Решать придется всем нам, так

сказать, всем миром. Во время ужина, на который нас позовут, как только переоденутся участницы маскарада, каждый опустит в чашу, стоящую в центре столовой, тот номер, который он лично считает номером победительницы. Результат после подсчета будет оглашен послезавтра, в субботу, во время торжественного обеда, на который приглашаются все присутствующие. Тогда же состоится вручение призов и подарков.

– А где же номера?

– Полный комплект номеров, от единицы до двадцати семи, уже лежит возле вашего прибора в столовой.

Затем дамы в масках удалились, возникло некое оживление, забегали официанты, разнося напитки.

– Пойдемте в курительную, – сказал генерал Олексин, вставая. – С чего это вы впали в задумчивость, Викентий Корнелиевич?

– Признайтесь, номер «двадцать семь» в костюме горничной – ваша сестра?

– Понятия не имею, – проворчал Федор Иванович. – Но свой жетон опущу за нее, потому что обожаю дерзость. Если, конечно, она демонстрируется не в моем доме.

Наденька к ужину не вышла, но получила первый приз в субботу на торжественном обеде. Где-то между жареными цыплятами и шампанским «Редерер».

Глава четвертая

1

Наденька торжествовала, еще раз самоутвердившись в собственных глазах. Наденька торжествовала, Феничка радовалась, от веселого смеха и радостных воспоминаний звенел весь второй этаж. Доносилось и до первого, и Варвара решила направить восторг победительницы в разумное русло. Однако развивать свой первый светский успех младшая сестра отказалась наотрез:

– Прости, Варенька, понимаю твою озабоченность, но строить свое будущее я попытаюсь сама.

– Надя, это твой круг, в который ты практически уже сделала первый и весьма удачный шаг. Круг воспитанных, образованных, в конце концов, состоятельных людей…

– Я очень хочу стать состоятельной. Но для меня состоятельной является только состоявшаяся личность, а не чужое богатство, доставшееся по наследству. Вот дядя Роман – человек состоятельный, даже если из него вычесть все миллионы.

Вся писательская деятельность была забыта и заброшена. Чем Надя занималась, никто из домашних толком не знал, а ее наперсница-горничная помалкивала, делая круглые глаза.

– Не понимаю, что с ней происходит, – сердилась Варя.

– Дай девчонке перебеситься, – грубовато советовал Роман Трифонович. – Перебесится, и все вернется на круги своя.

Однако все обернулось совсем другими кругами. Как только спали морозы, Наденька неожиданно зачастила на улицу вместе с верной Феничкой, щедро одаренной Хомяковым за отважную роль подсадной утки на маскараде.

С первым весенним солнцем Москва бурно воспряла от затяжной зимней спячки. Перекрашивали фасады зданий на тех улицах, по которым, согласно высочайшему Рескрипту, должен был проследовать государь. Сооружали триумфальные арки и обелиски, полные русской исторической символики. Провели электрическое освещение по всей Тверской от Брестского вокзала, который москвичи упорно называли Смоленским, до Красной площади. Повсюду развешивали яркие панно и транспаранты, заколачивали, приколачивали и переколачивали заново, и перестук топоров не умолкал уже ни днем ни ночью.

В традиционно неспешной, почти сонной Первопрестольной разом вскипела невиданно активная деятельность. И Наденька не могла, просто не имела права не увидеть внезапного и очень азартного взрыва искреннего энтузиазма москвичей.

> «Третьего апреля состоялось торжественное перевезение Императорских регалий из Зимнего дворца в Москву, в Оружейную палату, перед священным коронованием Их Императорских Величеств.
>
> По высочайше утвержденному церемониалу в Зимнем дворце в третьем часу дня собрались высшие чины Двора и сановники, назначенные для принятия и перевезения Императорских регалий. В Бриллиантовой комнате дворца регалии были выданы сановникам министром Императорского Двора графом Воронцовым-Дашковым и чинами главного дворцового управления и Кабинета Его Величества. Блестящий кортеж двинулся из Бриллиантовой комнаты через дворцовые залы на посольский подъезд.

При выходе кортежа на посольский подъезд караул главной гауптвахты встал под ружье и отдал честь. У подъезда находились придворные парадные кареты, запряженные цугом в четыре лошади каждая.

Парадный кортеж выехал из дворцовых ворот в предшествии трубачей эскадрона Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка. За ними следовали два ряда кавалергардов, конюшенный офицер и три конюха верхом. Далее: две четырехместные кареты, запряженные четверкою лошадей цугом, с камер-юнкерами и камергерами, назначенными предшествовать Императорским регалиям; парадный фаэтон с двумя церемониймейстерами и фаэтон с верховным церемониймейстером. В предшествии парадных экипажей, в которых везли Императорские регалии, ехали верхом конюшенный офицер, два младших берейтора и три придворных конюха. Всех карет с Императорскими регалиями было шесть. В первой везли малую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государыни Императрицы Александры Феодоровны; во второй – большую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государя Императора; в третьей – Державу; в четвертой – Скипетр; в пятой – малую Корону Государыни Императрицы Александры Феодоровны и в шестой – большую Корону Государя Императора. Впереди каждой кареты ехали верхом по два вершника, а по сторонам – по два кавалергарда с обнаженными палашами. Шествие замыкал взвод кавалергардов в блестящих кирасах с белыми орлами. Красивою, длинною лентой тянулось это шествие по всему Невскому проспекту среди многочисленной толпы, стоявшей непрерывными шпалерами на всем протяжении кортежа.

В три часа тридцать минут дня парадный кортеж вступил в ворота Николаевского вокзала. Войска взяли на караул. Регалии были внесены в Императорские покои и затем были уложены в особые ящики командированными от Кабинета Его Величества чинами. В семь часов тридцать минут вечера особым экстренным поездом регалии были отправлены в Москву в сопровождении генерал-адъютанта Гершельмана».

– Уфф!..

Этот газетный отчет прочитал вслух Варваре, Роману Трифоновичу и забежавшему выкурить сигару да перевести дух Федору Ивановичу капитан Николай Олексин.

– Представляю это волнующее зрелище, – задумчиво улыбнулась Варя. – С детства любила парады.

– Высокоторжественный акт, – строго поднял палец генерал. – Мы еще раз поразим мир мощью и блеском России.

– Красивая обертка совсем не означает, что внутри непременно должно находиться нечто высококачественное, – усмехнулся Хомяков. – У каждого века свой блеск и своя мощь. И мне думается, что в грядущем двадцатом столетии блеск и мощь России будут измеряться совершенно иными качествами.

– Как всегда, уповаешь на революцию?

– Уповаю единственно на разум человеческий, Федор Иванович. То, что с таким восторгом живописует газета, есть всего-навсего последние судороги давно состарившегося русского самодержавия. Ты можешь себе представить нечто подобное, скажем, в Америке? Нет, разумеется, потому что Америке повезло обойтись без Средневековья. И она войдет в век двадцатый без ржавых кандалов прошлого и побежит, побежит!.. А мы поплетемся за нею. С форейторами, берейторами и кирасами с белыми орлами.

– У России – свой путь, – строго сказал Олексин. – Свой, Роман Трифонович, особый и осиянный.

– Опять сказка про белого бычка на осиянном лугу, – вздохнул Хомяков. – Бог с тобой, генерал, ты же не на сборище записных патриотов. Это тропинки бывают особыми, а магистральное направление прогресса – одно для всех народов.

– Но национальные традиции, Роман, – сказал Николай. – Народ без исторических традиций превращается в толпу ванек, не помнящих родства своего.

– А что считать традициями, капитан? Форму или содержание? Форму проще и нагляднее: понимания не требует. Гавриил, светлая ему память, пустил себе пулю в сердце, потому что не мог ни понять, ни тем более простить государя Александра Второго, предавшего, с его точки зрения, болгарский народ. Это – традиция чести. Содержания, а не формы. Любимый порученец Михаила Дмитриевича Скобелева – перед тобою сидящий Федор – чуть мне физиономию не расквасил за то, что мои компаньоны, в аду бы они сгорели, моим именем скобелевских солдат червивой мукой кормили, пока я в отъезде был, и для него это оказалось вопросом чести. «Солдатский рацион есть честь всей России!» – так он мне тогда заявил и был абсолютно прав. Забота о подданных своих есть великая честь и великая традиция, а не парады с иллюминацией.

– Да кто же с тобой спорит, кто спорит, – вздохнул Федор Иванович: упоминание о «белом генерале», кажется, не очень-то пришлось ему по душе. – Ты сказал то, что само собой разумеется, зачем же сотрясением воздухов заниматься?

– Знаешь, порою это просто необходимо. В застойном воздухе уж и дышать-то нечем стало. Реформы тихохонько свернули, а что получили? Забыл голод девяносто первого? Вот чем оказался весь наш «особый путь».

– Ну, это, так сказать, случайное явление, – проворчал Федор Иванович. – Это крайность, зачем же ее принимать в расчет?

– А голод был страшным, – вздохнула Варвара. – Я знаю, в Комитете помощи голодающим работала.

– Зато кирасир с гусарами развели, – непримиримо проворчал Хомяков.

Беззвучно вошел Евстафий Селиверстович.

– Кушать подано, господа.

За обедом поначалу все чувствовали себя несколько неуютно, как то всегда бывает даже после незначительных семейных размолвок. Однако за десертом поднаторевший в сглаживании острых углов когда-то боевой, знаменитой скобелевской выучки офицер, а ныне – придворный генерал Олексин первым решился взять разговор в свои руки.

– Вчера на совещании великий князь Сергей Александрович наконец-таки утвердил план сооружений на Ходынском поле для народного гулянья. Будет построено сто пятьдесят буфетов для раздачи подарков, двадцать бараков для бесплатного распития пива и вина, два балагана для представлений, а также эстрады для оркестров, карусели, качели и прочее.

– Что же входит в царский подарок? – спросил Николай.

– Обливная кружка с царским вензелем и датой коронации, сайка, кусок колбасы, немного конфет и орехов.

– Негусто, – усмехнулся Роман Трифонович.

– Да, но ты умножь это на четыреста тысяч.

– Уже умножил. Платочки, во что дар сей щедрый завернут будет, я поставлял.

– Господа, вы опять начинаете? – безнадежно вздохнула Варвара.

– А хватит ли четырехсот тысяч подарков? – спросил Николай. – Москва велика.

– С избытком, – уверенно сказал Федор Иванович. – Для народа главное – развлечения.

– Хлеба и зрелищ требовал еще плебс в Риме, насколько мне помнится, – заметил капитан. – Отсюда следует, что мы просто шествуем проверенным классическим путем?

– Традиционное заблуждение русских правителей – в перестановке этих требований: «зрелищ и хлеба!» – несогласно проворчал Роман Трифонович. – Не в этом ли заключается пресловутый особый путь России, генерал?

– О Господи! – сказала Варвара и встала. – Извините, но я удаляюсь, господа.

Она вышла.

– Вот и Варенька не выдержала, – вздохнул Николай.

Хомяков поднял палец, и два шустрых молодца в униформе, расшитой галунами, тут же наполнили бокалы.

– У меня несносный характер, – сказал Роман Трифонович. – Но что поделать, когда испытываешь постоянный зуд в душе? Где реформы, друзья мои? Где реформы? Россия топчется на месте, как бегемот в клетке.

– Россия медленно запрягает, – улыбнулся Николай.

– Так сначала извольте научить ее запрягать! – не выдержал Хомяков. – Примите необходимые законы, обеспечьте их исполнение, прижмите к ногтю мздоимство чиновников, начиная с первого класса по четырнадцатый включительно. Ну, есть же пример, есть: Европа. Нет, кому-то очень выгодно, чтобы Россия сидела в собственном болоте. Очень выгодно!

– Двадцатый век все расставит по местам, Роман Трифонович, – улыбнулся генерал Олексин. – Решительно и бесповоротно. Ты не учитываешь инерционной мощи русского народа, а напрасно, она – весьма и весьма велика. И бомба Гриневицкого, убившая государя императора Александра Второго в день, когда на его столе лежала Конституция, тому пример. Естественно, это между нами, господа.

– Ты веришь в некие знамения, Федор?

– В предопределения, Коля. В предопределения самой истории. И сам факт священной коронации Их Императорских Величеств накануне грядущего века есть великое предопределение. Великое божественное предзнаменование для Святой Руси!

2

Москва продолжала прихорашивать свой парадный подъезд. Каменщики перебирали мостовую на Тверской, кровельщики меняли водосточные трубы, маляры перекрашивали фасады домов, плотники усердно сколачивали многочисленные обелиски, арки и трибуны. Это привлекало великое множество праздношатающихся зевак, карманных воров и полиции, следящей, впрочем, куда больше за любопытствующей публикой, нежели за любознательными карманниками.

– Злые языки утверждают, что обер-полицмейстер Власовский собирал всех московских воров, так сказать, на совещание, – рассказывал Викентий Корнелиевич. – И очень просил их тщательно ощупывать карманы москвичей на предмет нахождения револьверов, обещая за это закрыть глаза на все прочие проделки.

Вологодов был очень занят, но старался посещать Хомяковых при малейшей возможности. Умный сановник нравился как Роману Трифоновичу, так и в особенности Варваре, но с той, ради кого Викентий Корнелиевич столь настойчиво стремился в этот особняк, ему никак не удавалось встретиться. Вечерами она упорно отказывалась выходить, ссылаясь на усталость, а днями пропадала на московских улицах почти все светлое время.

– Наденька, в конце концов, это становится неприличным и, извини, смешным.

– Этот старый ловелас попытался приволокнуться за мной, когда я служила в горничных.

Естественно, Вологодов не знал об этом разговоре, равно как и о причинах столь демонстративного остракизма. Впрочем, об этих причинах не ведала и сама Наденька, действовавшая по древнему девичьему принципу: «А вот так!..» Викентий Корнелиевич очень огорчался, но упорно продолжал наносить визиты, пользуясь дружеским дозволением хозяев не церемо-

ниться. Не потому, что на что-то надеялся – ни на что он давно уже не надеялся! – а потому, что до горькой тоски и глухой боли стал ощущать свое холостяцкое одиночество. Особенно – вне стен этого дома.

Теперь он частенько думал, что сам себя обрек на это тягостное одиночество в жизни. Не в домашнем кругу, не среди друзей, не в компании сослуживцев, наконец. Нет, в самом существовании своем во всех его проявлениях. Семейных, личных, дружеских, служебных. Последнее время – он избегал начинать этот грустный отсчет со дня знакомства с Наденькой Олексиной, хотя это было именно так – он стал с трудом засыпать, выискивая причины собственной самоизоляции чуть ли не с дней собственного детства.

Он родился в весьма состоятельной семье видного дипломата, вскоре после его рождения отъехавшего в Лондон по долгу службы. Там, в Англии, он получил прекрасное, но чисто английское образование, в корне отличавшееся от образования русского не по объему предлагаемых знаний, не по способу преподавания, а по первенствующей роли воспитания в каждом молодом человеке истинного джентльмена. Корректного, суховатого, неизменно вежливого и не позволяющего себе внешних проявлений чувств ни при каких обстоятельствах. Он стал скорее замкнутым, нежели неразговорчивым, скорее сдержанным, нежели флегматичным, не то чтобы совсем лишенным темперамента, скорее, как бы вмороженным в ледяную глыбу. Именно это бросающееся в глаза английское воспитание, столь отличное от привычного русского, и обеспечило ему стремительное продвижение по чиновничьей лестнице, поскольку ко времени его возмужания отец уже скончался, а дипломатическое его поприще сын наследовать не пожелал по сугубо личным причинам.

Не пожелал, потому что дул на воду, ожегшись на молоке. Еще будучи студентом Оксфорда, он безоглядно влюбился в девушку из старой и уже обедневшей аристократической семьи. Однако он был достаточно богат, чтобы чисто по-русски о такой мелочи не задумываться, и все шло без сучка без задоринки, включая официальную помолвку. Добившись ее и донельзя обрадовавшись, он решил немедленно поехать в Россию, поскольку родители вернулись к родным пенатам по завершении отцом дипломатической службы. Однако родня официальной, сговоренной и оглашенной невесты не пожелала отпускать ее до венца вместе с женихом, заменив далекую Россию на близкий Париж.

Из Парижа английская невеста не вернулась. Родители предпочли пожилого французского графа молодому русскому студенту, не вдаваясь в объяснения. Викентий Корнелиевич Вологодов бросился за ними во Францию, желая хотя бы получить разъяснения от бывшей невесты и одновременно боясь этих разъяснений. В Париже он никого не нашел и поехал по следам сначала в Италию, затем в Швейцарию, Австрию и снова во Францию, где наконец-таки некий доверенный представитель счастливого графа настоятельно порекомендовал ему прекратить все попытки добиться свидания с бывшей невестой, пригрозив в противном случае официально обвинить его в преследовании с дурными намерениями.

– Вы ведете себя не по-джентльменски, месье, что дает графу право искать защиты от вашей назойливости у полиции.

Вологодов немедленно выехал на родину, месяц выжигал в себе не только любовь, но и саму память о ней, поступил на службу, в которой нашел если не утешение, то забвение. Жил одиноко, появлялся в обществе только в случае необходимости, и женщин для него более не существовало.

Он заново открыл их, повстречавшись с Наденькой Олексиной.

А Наденька вместе со своей горничной бродила по шумной, многолюдной Москве с горящими глазами и ликованием в сердце и не подозревая, что стала необыкновенно желанной и, увы, недоступной принцессой последней сказки суховатого и – еще раз увы! – уже немолодого одинокого мужчины. Сейчас ее интересовало совсем иное – степенно обедающие из общего котла артельщики, чумазые трубочисты, звонкий выезд пожарных…

– Смотри, смотри, Феничка, гнедые понеслись!

– Стало быть, Арбатская часть выехала, барышня, – важно поясняла горничная. – Это у них гнедые битюги.

Темно-русая головка и толстая пшеничная коса, выглядывающие из-под двух одинаковых шляпок, постоянно мелькали в самых людных местах. Обладательницы их вместе с артельным людом весело хохотали над мальчишкой-штукатуром, неосторожно шагнувшим в известковый раствор; старательно перевязывали голову бородачу-плотнику, не успевшему увернуться от упавшей доски; с радостной готовностью относили записку подрядчика, которому ну никак невозможно было отлучиться даже на соседний участок. К ним скоро настолько привыкли, что стали приветливо здороваться, меж собой называя их «Феничкой с барышней».

– Варенька, там такие замечательные люди, такие интересные! Я непременно напишу о них, непременно! И нисколько не хуже, чем господин Гиляровский, вот увидишь. Дядя Роман, ты ведь меня понимаешь, правда?

Хомяков понимал, озорно подмигивая.

– Вот у них – идеи, – говорил он. – А у нас – некая сумма смутных мечтаний и туманных представлений, далеко не всегда правильная к тому же.

– Идей много, – строго предупреждала Варвара. – Только, пожалуйста, не старайся запоминать непереводимой игры слов. Даже во имя жизненной правды.

Впрочем, она беспокоилась напрасно. При девушках никогда и никто не позволял себе ни одного дурного слова. Даже когда доска упала на плотника, он только прорычал:

– Ах, чтоб тебя!..

Так что гуляний их ничто не омрачало. И бродили они до изнеможения.

– Барышня, за нами ктой-то следит, – зловещим шепотом сообщила как-то Феничка.

– Кто следит?

– Да вон, тощий такой. В гимназической фуражке.

Наденька оглянулась. Действительно, позади стоял совсем еще юный господин в далеко не новой гимназической фуражке, из-под которой во все стороны лезли упрямые завитки белокурых волос. Заметив, что на него смотрят, юноша тотчас же отвел глаза.

– Весь день бродит след в след, – пояснила Феничка. – Может, бомбист какой?

– Почему же непременно бомбист?

– Не знаю.

– Проверим. Иди не оглядываясь.

– Куда идти?

– За мной.

Наденька быстро пошла от Триумфальной к дому генерал-губернатора. Однако на подходе к Скобелевской площади народу оказалось столько, что шаг пришлось существенно укоротить. Может быть, поэтому Надя не выдержала и снова оглянулась.

Белокурый юноша упорно шел сзади.

– Прилип как банный лист, – недовольно шептала Феничка. – Может, городового позвать?

– А в чем он провинился? В том, что на тебя смотрит?

– Он на вас смотрит, барышня.

– Ну и что? И пусть себе смотрит. Вот сейчас подойду к нему и спрошу…

Наденька остановилась, повернулась лицом к преследователю и решительно уставилась ему в глаза. Юноша засмущался, опустил голову, но не ушел, и толпа толкала их почти одновременно.

«Сейчас я ему все выложу! – сердито подумала Надя. – Наглость какая!..»

Она и впрямь шагнула к нему, но гимназист вдруг странно изогнулся, словно пытаясь то ли от кого-то отбиться, то ли кого-то схватить. Возникла некая дополнительная толчея,

шум, почти тотчас же раздался свисток, и к этому месту устремился рослый городовой, доселе почему-то невидимый.

– Р-разойдись! Что за крик?.. Прошу предъявить пачпорт.

– У меня нет паспорта, – растерянно сказал гимназист, поскольку последние слова городового относились к нему.

– Тогда пожалуйте в участок!

– Но ко мне залезли в карман…

– Пожалуйте в участок!..

– На каком основании? – строго спросила Наденька, к тому времени уже пробившаяся к ним. – К этому господину действительно залезли в карман.

– А вы кто такая будете, мамзель?

– Я – племянница Романа Трифоновича Хомякова. А этот господин приехал к нему из… из Костромы.

– Верно! – закричали с лесов артельщики. – Ты вон лучше карманника лови, селедка!..

– Что творится? – заворчали в толпе. – Честных людей хватают средь бела дня, а ворье что хочет, то и делает.

– И в такое знаменательное для всей Святой Руси время!

– Нет, надо искать на них управу. У меня, знаете ли, третьего дня семь рублей из кармана увели…

– Из кармана, говорите?.. – растерянно спросил городовой, не зная, что предпринять для приличного отступления.

– Держи вора! – завопили с лесов.

– Держи вора! – тотчас же откликнулся городовой.

Подхватив шашку, он засвистел и кинулся куда-то в толпу. Сверху, с лесов, заулюлюкали, засвистели, захохотали. Прохожие как ни в чем не бывало тут же двинулись по своим делам, и молодые люди остались вдвоем. Но только на мгновение, потому что к ним наконец-то пробралась Феничка.

– Детина какой-то растопырился, ни тебе ходу, ни проходу, – недовольно сообщила она.

– У вас и вправду что-то украли? – строго спросила Наденька нескладного гимназиста.

– Украсть не успели, но в карман залезли. Я хотел было схватить вора за руку, только он вырвался.

– А зачем вы нас преследовали?

– Я… – Юноша очень смутился, опустил голову, и уши его начали краснеть. – Извините.

– А кто ты есть? – сердито спросила Феничка. – Почему ты из Костромы?

– Я не из Костромы.

– А барышня сказала, что из Костромы!

– Это ошибка. – Гимназист в явно тесном мундирчике снял фуражку, застенчиво поклонился. – Еще раз прошу меня извинить за назойливость, с которой я…

Он окончательно смутился и угнетенно замолчал, не решаясь поднять голову. Надя улыбнулась.

– Почему же вы вдруг замолчали?

– Позвольте представиться, – вдруг сказал молодой человек, с отчаянной решимостью подняв голову. – Нижегородский дворянин Иван Каляев.

3

И дальше они пошли втроем.

– Я только что досрочно закончил в гимназии, – рассказывал Ваня, все еще немного смущаясь. – Потому досрочно, что очень уж хотел увидеть коронацию.

– Сбежали из дома?

– Нет, что вы, Надежда Ивановна. Я к тете приехал, у меня тетя в Москве живет. На Неглинке. А осенью поеду поступать в Петербургский университет.

– А почему же не в Московский?

– Н-не знаю. Может быть, и в Московский. – Ваня помолчал, добавил решительно: – Я Москвы совершенно не знаю. А в Петербурге бывал два раза.

– Тетю, значит, до сей поры не навещал? – подозрительно отметила Феничка.

– Нет, что вы, – смутился недавний гимназист. – Как можно, остановился у нее…

– Мы вам покажем Москву, – улыбнулась Надя. – И начнем с Кремля.

На Красной площади и в Кремле шли особенно напряженные работы, поскольку именно здесь и должно было происходить таинство Священного Коронования. Строили помосты и переходы, готовили иллюминацию, громоздили деревянный слив в Москву-реку с Тайницкой башни. В некоторые места вообще не пропускали, но главное показать Ване Каляеву все же удалось. А когда вышли к Манежу через Троицкие ворота, Наденька решительно объявила:

– Сегодня вы обедаете у нас, Ваня.

– Что вы! – растерялся юноша. – Мы так мало знакомы и… и мундир у меня…

– У нас принимают не по мундиру, – улыбнулась Надя. – Феничка, возьми лихача.

Лихач и особняк, возле которого Наденька велела остановиться, настолько потрясли Ваню, что он окончательно сник. А тут еще – швейцар, дворецкий, прислуга в ливреях…

– Я представлю гостя сама, Евстафий Селиверстович.

Зализо невозмутимо принял потрепанную фуражку, предупредительно открыл двери.

– Мой друг, нижегородский дворянин Иван Каляев, – с некоторым вызовом объявила Надежда.

– Рад познакомиться, – серьезно сказал Роман Трифонович, крепко, как всегда, пожимая руку молодому человеку. – Иван… простите, не знаю отчества.

– Ваня.

– Здравствуйте, Ваня, – чересчур вежливо улыбнулась Варвара. – Извините, отдам кое-какие распоряжения.

И вышла, полоснув взглядом по лицу сестры, сияющему непонятным озорным торжеством.

– Садитесь, Ваня, садитесь, – с искренним радушием говорил Хомяков. – Вина, сигару?

– Нет… То есть… нет.

– Позвольте оставить вас одних, – сказала Наденька. – Встретимся за обедом.

– Да вы не смущайтесь, Ваня, – добродушно улыбнулся Роман Трифонович, когда Надя ушла. – Здесь не кусаются, а лишних за столом не будет, так что располагайтесь как дома. Признаться, люблю ваш Нижний, ежегодно бываю на ярмарке…

Пока в гостиной происходил мужской разговор, на втором этаже особняка состоялся разговор женский.

– Мне надоело это беспрерывное и, извини, бестактное фраппирование, Надежда. Ты бесконечно избалована и непозволительно эгоистична.

– Бог мой, сколько ненужных эпитетов!

– Полагаешь, что тебе все дозволено? Так знай, что тебе не дозволено бросать тень на мой дом!

– Тощая тень бездомного гимназиста никак не отразится на твоем величии, сестра.

– На моем – да! А на деловой репутации Романа?

– При чем здесь деловая репутация? Господин Каляев – не делец, не светский прощелыга, а просто большой ребенок.

– Мы живем под увеличительным стеклом, потому что вся Москва люто завидует нам и ненавидит нас за собственную зависть! Это, надеюсь, тебе понятно?.. – Варвара помолчала, давая сестре возможность усвоить сказанное. – Марш переодеваться к обеду!

Роман Трифонович сумел несколько расковать гостя от тяжких вериг первого смущения, а за столом Ваня освоился окончательно. Он был скромен, умен и достаточно воспитан, для того чтобы справиться с природной застенчивостью, и обед прошел почти непринужденно. Настолько, что даже Варвара в конце концов начала улыбаться без всякой натянутости.

– Я оказалась права? – спросила Наденька, когда дамы удалились на свою половину.

– Он непосредственен и очень мил. И все же помни, что я тебе сказала.

Следующий день начался дождем. Не звонким весенним, а тусклым, унылым и безнадежным. Все небо затянули тучи, тяжелые и однообразные, как солдатские шинели. Порывы резкого холодного ветра гоняли по улицам стружки, обрывки рогож, ветошь и паклю. Но Москва уже ни на что не обращала внимания, продолжая пилить, рубить, стучать, красить и грохотать.

– Не придет он, барышня, – сказала Феничка, вручая Наде раскрытый зонтик.

Но Ваня пришел и терпеливо ждал именно там, где вчера условились: под аркой городской Думы.

– Не промокли?

– Нет. Я бегом, Надежда Ивановна.

И улыбнулся с такой счастливой готовностью, что Наденька впервые ощутила в душе доселе незнакомое ей странное, какое-то очень взрослое чувство. И сказала:

– Подождем, пока Феничка сбегает в лавку.

– Зачем? – удивилась Феничка.

– Мужской, – кратко пояснила Наденька.

– Ага!..

Феничка убежала, и молодые люди остались одни. И молчали, но – по-разному. Ваня маялся в поисках начала беседы, а Наденька спокойно улыбалась доброй взрослой улыбкой.

– Я… То есть вы себя чувствуете?

– Чувствую, – несколько удивленно подтвердила Надя. – А вы себя?

– Я забыл спросить как?

– Замечательно. А вы, Ваня?

– И я замечательно.

Феничка принесла большой мужской зонтик.

– Держите крышу, господин Ваня.

– Что вы! Что вы! – Иван замахал руками и даже попятился. – Это совершенно невозможно.

– А болеть возможно? – спросила Наденька. – Простудитесь, и тетя не пустит вас на коронацию.

– Но я не могу…

– …гулять под дождем, – закончила Надя. – Но посмотреть, как Москва готовится к великому торжеству, просто необходимо. Берите зонтик, берите, берите. И за мной, поскольку я ваш чичероне на все дни вашего пребывания в Москве.

Сначала они осмотрели четыре обелиска перед городской Думой. Огромные сооружения с декоративными позолоченными щитами и гербами на вершинах. Затем декорационную арку у Большого театра, убранную шкаликами для свечной иллюминации, и обелиск с Императорской колонной на углу Охотного Ряда и Тверской.

– Ну и каково впечатление, Ваня?

– Да… – Юноша помолчал, потом добавил со смущенной решимостью: – Много.

– Чего много?

– Не знаю. Теса много, краски. Много формы, она само содержание задавила. Может быть, в этом и заключается русский стиль, Надежда Ивановна?

– Ого! – Наденька с удивлением посмотрела на него. – Да вы, оказывается, совсем не так просты, каким изо всех сил стремитесь выглядеть.

– Я не стремлюсь, – сказал Каляев. – Я…

И замолчал, начав неудержимо краснеть.

Глава пятая

1

В тот день Надя опоздала с приглашением на обед, потому что Ваня успел отказаться раньше, сославшись на данное тете обещание. Наденька подозревала, что в Москве никакой тети у Каляева нет, но встретила его отказ с известным облегчением, не желая раздражать Варвару ежедневно. Но это облегчение вызвало в ней досаду и какое-то кисловатое, что ли, презрение к себе самой, и домой она пришла в весьма дурном настроении.

– У нас дорогой гость, – по-свойски шепнул Евстафий Селиверстович.

– Кто?

– Громкий.

– Я приду прямо в столовую.

– Нет, нет, Роман Трифонович непременнейшим образом просил пожаловать сначала в гостиную. Обед все равно задержится, господина Вологодова ждем.

«Этого еще не хватало», – скорее по привычке, нежели с огорчением, подумала Наденька, поднимаясь к себе.

С помощью Фенички она быстро переоделась, размышляя, кого дворецкий подразумевает под псевдонимом «Громкий». Поправила прическу и, сердито повздыхав, спустилась вниз.

– А вот и наша Надежда Ивановна! – объявил Хомяков.

С кресла поднялся коренастый немолодой господин с аккуратно подстриженной бородкой, но Наденька смотрела не на него. Она не могла оторвать глаз от бронзового жетона с вензелями государя императора и императрицы в центре на голубой эмали. «Это же корреспондентский значок!..» – мелькнуло в голове.

– Василий Иванович Немирович-Данченко, – представил гостя Роман Трифонович. – Наш старый друг.

– Старинный, – улыбнувшись, поправила Варвара.

– Слышал о вас давно, читал вас недавно, – сказал известный всей России беллетрист и знаменитый еще по русско-турецкой войне корреспондент. – Очень рад знакомству. Позвольте пожать вашу руку, коллега. Гуляли по Москве?

– Мне нравится, когда работают с энтузиазмом. Это ведь тоже праздник, не правда ли?

– И самый искренний, заметьте. А как вам понравилось убранство нашей Первопрестольной?

– Кажется… – Наденька на мгновение запнулась, – больше формы, чем содержания.

– Очень точное замечание, Надежда Ивановна, бьющее в цель, что называется. Очевидно, черта внешней неуклюжести – в самом характере всей русской природы. И не задавить ее никакими изобретениями американского технического гения. Пройдет, господа, девятнадцатый век, наступит век двадцатый, а наш Микула Селянинович останется все тем же мощным и добросердечным, но неповоротливым и корявым героем русской фантазии. Наденут на него фрак английского покроя и перчатки не существующего по размерам номера из французского магазина Кордье, научат и говорить на всех двунадесяти языках, а все-таки в самую вдохновенную минуту свою он вдруг так двинет плечом, что английский фрак расползется по всем швам и откроет миру все ту же скромную русскую косоворотку.

– Признайся, Василий Иванович, что ты только что цитировал самого себя, – усмехнулся Роман Трифонович. – Уж слишком вычурно, под стать московским декорациям.

– Не пропадать же хорошим сравнениям втуне! – весело рассмеялся корреспондент. – Надежда Ивановна меня понимает. Не правда ли, коллега?

Наденька кивнула и улыбнулась. Ей сразу же понравился неожиданный гость. Живой и непосредственный, хотя явно тяготеющий к монологам.

– В самом деле, что такое наша Первопрестольная? – Василий Иванович испытал новый приступ красноречия, получив девичье благословение. – Холмы да холмы, кривые и узкие улочки да переулочки, примитивные мостовые, которые ремонтируют по два раза в год, а то и почаще. Ужасные, в полном смысле слова, азиатско-отчаянные пролетки с еще более отчаянными лихачами, а сюда вся Европа нагрянула да плюс еще и старый соперник – строгий и чинный Петербург. И чем же прикажете прикрыть средневековость Первопрестольной? Проще всего – русско-византийским сочетанием красок. Синей да красной, да сусального золота побольше. А от всего, вместе взятого, возникает какой-то пряничный… – он пощелкал пальцами, подыскивая сравнение позабористее, – запах, знаете ли…

В дверях неожиданно появился Зализо.

– Господин Вологодов!

– Как раз к обеду, – сказала Варвара. – Распорядитесь, Евстафий Селиверстович.

Разговор возник за десертом, когда Хомяков спросил Викентия Корнелиевича о московских новостях.

– Расселение – моя головная боль, поскольку поручено именно им и заниматься. Посольства и представительства прибывают целыми поездами, все, естественно, требуют удобств, но, надо отдать им должное, за деньгами не стоят, платят, сколько запрашивают. Французское посольство, например, сняло Охотничий клуб на весь май за двадцать две тысячи рублей.

– А рыбешку помельче в какой вентерь загоняете? – поинтересовался Василий Иванович.

– Сняли гостиницы. Кроме «Большой Московской», – «Славянский базар», «Континенталь», «Метрополь», «Петергоф». Меблированные комнаты ангажировали – «Кремль», «Княжий двор», «Свет», «Надежда». Сложнее с людьми, которые там проживали, а теперь оказались вынужденными переселяться на частные квартиры. Представляете, насколько в Москве сразу же взлетели цены на жилье?

– Да, уж москвичи охулки на руку не положат, – усмехнулся Роман Трифонович.

– К сожалению, владельцев охватила горячка – сдают квартиры по такой цене, чтоб она за месяц покрыла двухгодовой обычный платеж, – сказал Вологодов. – Разумеется, сразу же пошли жалобы, но что мы можем поделать?

– Верно ли говорят, Викентий Корнелиевич, что за комнату на Тверской, за которую до этого платили двадцать пять рублей в месяц, теперь требуют никак не меньше двухсот пятидесяти? – спросил Немирович-Данченко.

– Совершенно верно, Василий Иванович. Да что там! Представьте, что только за право смотреть из окна на проезд государя берут не менее пятнадцати рублей.

– Совсем народ обнаглел, – вздохнула Варвара.

Роман Трифонович рассмеялся:

– Первичный капитал сам в руки идет, ну и слава богу! Разумно распорядятся – новые рабочие места получим, новых коммерсантов, а то и новых предпринимателей.

– А как же с духовностью?

– Духовность, Варенька, не в том, чтобы медяки нищим разбрасывать да бесплатными обедами неимущих старичков со старушками кормить. Истинная духовность, с моей точки зрения, в том, чтобы для бедных строить школы, дешевые дома, да хотя бы просто богадельни. А мы предпочитаем вместо этого церкви громоздить, хотя в Москве их и так уж сорок сороков.

– Да, Европа куда разумнее вкладывает деньги, нежели мы, – согласился Викентий Корнелиевич. – Что поделать, господа, такова традиция. Благодарю, Варвара Ивановна, благодарю, господа, обед был отменным. Впрочем, как и всегда. А меня извините. – Он отложил салфетку и поднялся. – Шестого мая, следовательно, уже в понедельник, Их Императорские Величества

прибывают в Москву на Брестский вокзал. И уж оттуда экипажами – в Петровский дворец, а посему дел у меня – выше головы, как говорится.

– Как это, должно быть, интересно, – вздохнула Наденька.

– Что именно, Надежда Ивановна? – живо откликнулся Викентий Корнелиевич.

– Переезд императора с императрицей в Петровский дворец. – Надя искоса бросила на Вологодова проверяющий взгляд. – Любопытно было бы посмотреть, такое случается раз в жизни.

– Это невозможно, Надя, – сказала Варвара. – Государя встречают только члены императорской фамилии и особо приглашенные на эту церемонию.

– Это действительно невозможно, – улыбнулся Вологодов. – Но для вас, Надежда Ивановна, я сделаю и невозможное.

И, поклонившись, тут же вышел. Точно вдруг застеснялся собственных высокопарных слов.

2

Утром Надя и Феничка опять встретились с Ваней Каляевым на условленном месте. Опять сеял мелкий нескончаемый дождик, было ветрено и прохладно, однако народу на улицах если и стало поменьше, то ненамного. А работы продолжались едва ли не еще энергичнее, нежели прежде, только что грязи изрядно прибавилось, да доски, через которые то и дело приходилось перебираться, стали теперь скользкими и неустойчивыми.

Молодые люди неторопливо двигались вместе с любопытствующими вверх по Тверской. Многочисленные разносчики лимонада и сбитня, пряников и конфет, пирожков и пышек, груш, яблок, лимонов и апельсинов перебрались с тротуаров под навесы крыш, а то и под леса, но зазывали еще настойчивее, чем прежде.

– Ладно, хоть не пристают сегодня, – говорила Феничка. – А то ведь прямо за рукава хватали.

– Не простудитесь, Ваня? – беспокоилась Наденька. – Весенний дождь прилипчив и холоден.

– Нет, что вы, Надежда Ивановна, я ведь всего лишь выгляжу хилым, а на самом-то деле совершенно здоров, – обстоятельно объяснил Ваня. – А Москва, оказывается, и в дождь интересна. Знаете, только теперь и понял, что имел в виду Пушкин.

Они как раз вышли на Страстную. Вероятно, поэтому Иван и вспомнил о каких-то пушкинских словах.

– Что же именно?

– Он говорил, что Петербург – прихожая, а Москва – девичья. В девичьей и в дождь весело, а в прихожей и при солнышке неуютно. В его дневниках есть такая запись, а я домашнее сочинение по этим дневникам писал, когда сдавал экстерном в гимназии.

– И как же вы назвали свое сочинение?

Каляев застенчиво помолчал. Но решился:

– «Неспетые песни». Глупо, конечно. – Он поднял голову, глянул на памятник. – Вы уж простите, Александр Сергеевич.

– Совсем не глупо.

– Вы так считаете? – оживился Каляев. – Знаете, Надежда Ивановна, я из того исходил, что гений никогда не успевает пропеть всего, что рождается в его душе. Он оставляет нам лишь незначительную долю того, чем был переполнен, как море. Может быть, отсюда и последние слова Гамлета: «Дальнейшее – молчание»? Ведь принц Датский не смерти боялся, а – безгласия.

– Грустно, – вздохнула Надя.

– Очень грустно, – согласился Иван. – Конечно, гений – это недосягаемый пример, но я думаю, что любой человек, даже самый обыкновенный, самый ничтожный, уносит с собою в небытие свои неспетые песни. Ах, как бы сделать так, чтобы все Акакии Акакиевичи и Макары Девушкины успели бы спеть…

– Ой! – вдруг вскрикнула Наденька.

Она шла по мокрым доскам, нога соскользнула, и каблучок провалился в щель между ними.

– Сейчас, сейчас! – всполошился Каляев. – Феничка, пожалуйста, поддержите барышню.

Он раздвинул доски, осторожно вытащил Наденькину ногу вместе с туфелькой. Спросил озабоченно:

– Не больно?

– Не больно. А каблук – пополам.

– А все потому, что на меня не опираетесь! – рассердилась Феничка. – Самостоятельная какая!

– Так это ж нам в пустяк! – раздался веселый мальчишеский голос.

Рядом с ними вдруг оказался паренек в насквозь мокрой сатиновой рубахе, подпоясанной витым поясом с кистями. Из-под лихо сдвинутой набекрень фуражки лезли черные кудри.

– Позвольте туфельку. Только присядьте сперва. Вот сюда, под леса, здесь не каплет. Господин гимназист, подсобите барышне.

Надя не успела опомниться, как ее усадили на сухие доски под строительными лесами, предупредительно подстелив мешковину. Рядом оказался артельщик в картузе:

– Из-за нас неудобство потерпели, барышня. Но ничего, коль нога цела. Мой Николка на все руки мастер. На совесть сделать, Николка!

– А мы завсегда на совесть. – Николка сверкнул зубами и куда-то умчался, захватив Наденькину туфлю.

– Сынок мой, – с гордостью пояснил артельщик. – К любой работе приспособность имеет. Что тебе, понимаешь, башмак починить, что по плотницкому делу, что по малярному…

– Дорогу! Дорогу!

– Гляньте-ка! – вдруг воскликнула Феничка. – Чудо какое везут-то!..

Мимо них по Тверской медленно и несколько торжественно проезжала огромная грузовая платформа, запряженная парой мохнатых битюгов. На платформе лежала неправдоподобно большая белужья голова, на сцепленной с нею второй такой же платформе размещалось гигантское, покрытое слизью черное тело, а на третьей – и сам хвост, возвышающийся, будто кусок недостроенного обелиска. Впереди ехал верховой, выкрикивая:

– Посторонись, православные! Посторонись!..

А вокруг бежали мальчишки с восторженными криками, спешили взрослые с гомоном и смехом.

– Чудо-юдо, рыба-кит… – сказал Ваня Каляев.

– Белугу везут, – удивленно заметил артельщик. – К царскому столу, поди. Живую вроде.

– Без воды? – усомнилась Надя.

– Снулую везут-то. Водкой опоили, чуете, барышня?

Вокруг огромной рыбины витал не только речной, но и впрямь водочный запах.

– Ей под зебры тины напихали и водкой поливают, – пояснил артельщик. – К царскому столу, никак не иначе…

– Вот так встреча! Надежда Ивановна, вы ли это?

Перед Надей остановился сопровождавший обоз коренастый мужчина в распахнутом макфарлане, из-под которого выглядывал клетчатый американский пиджак со значком корреспондента на лацкане.

– Василий Иванович?

– Он самый, – улыбнулся в бородку Немирович-Данченко. – Рыбкой заинтересовался. Точнее, не столько чудом этим волжским, сколько реакцией москвичей, непосредственных, как дети. И, как дети, прямо упивающихся сенсациями!

– А куда ее везут?

– В Петровский дворец. Прямиком из баржи на Москве-реке.

– А что, господин хороший, в нетрезвом виде, верно? – спросил артельщик.

– Да уж водки не жалеют! – Василий Иванович наклонился, спросил обеспокоенно: – Что случилось, Надежда Ивановна? Почему здесь сидите?

– Каблук сломала, – вздохнула Наденька. – Надо же такое невезенье. Это – наш друг Иван Платонович Каляев.

– Ваня, – скромно уточнил Каляев, с поклоном пожимая протянутую руку.

– И моя верная Феничка.

– Наслышан, рад познакомиться, – улыбнулся Василий Иванович. – Ну и коса у тебя, Феничка! Можно потрогать?

– Трогайте, если желательно, – чуть зарумянившись, согласилась Феничка.

– Коса – девичья краса, – сказал Немирович-Данченко, осторожно взвесив на руке Феничкину косу.

– Готово, барышня! – Откуда-то появился сияющий Николка с туфелькой в руке. – Извольте примерить.

– Как новенькая. – Надя притопнула каблучком. – Спасибо тебе, Николка.

– Чудо-юдо ты пропустил, Николка, – сказал отец. – Рыбину провезли пудов на сто с гаком.

– Где? – встрепенулся Николка.

– Вон, к Трухмальной подъезжают. Поспеешь еще.

Николка тут же сорвался с места, помчавшись вослед обозу. Артельщик решительно отказался от предложенной платы, но перед дюжиной пива не устоял:

– Это с нашим удовольствием. Спасибо, барин.

– Куда направляетесь? – спросил Василий Иванович, рассчитавшись с артельщиком. – Может, вместе пойдем? Меня волостные старшины на обед пригласили. Вам, коллега, было бы весьма полезно с ними познакомиться.

– С огромным удовольствием, Василий Иванович!

Представители волостей России были размещены в театре Корша – любимом театре москвичей. Повсюду, даже в гардеробе, одна к одной стояли простые железные койки, застеленные байковыми солдатскими одеялами. А столовая размещалась в зрительном зале: волостных старшин кормили бесплатно два раза в день обедом из двух блюд, к которому полагался стакан водки, а пива и чаю – сколько душа запросит. Степенные, аккуратные мужики сидели все вместе, плечом к плечу – вятские и таврические, иркутские и смоленские, русские и нерусские: черноусые причерноморские греки, рыжеватые, крепкие – один в один, как желуди, – немцы, рослые латыши и литовцы, светловолосые худощавые белорусы, поляки и русины, болгары и сербы, румыны, венгры, молдаване. Здесь были те из подданных России, кто исповедовал христианство: представители иных конфессий размещались отдельно.

– Хлеб да соль! – сказал Василий Иванович, поклонившись общему столу.

– Сделайте милость откушать с нами, господа хорошие.

Дружно потеснились, сдвигая оловянные миски. Кто-то помоложе мигом принес чистые приборы для незваных гостей.

– Ласкава просимо! – пригласил старый, заросший белой до желтизны бородой белорус.

– Здесь следует слушать, – тихо объяснил Наденьке бывалый корреспондент. – Отвечать, только если спросят.

Им тут же наложили по полной миске густых щей, поднесли по стакану водки. От водки молодежь, поблагодарив, отказалась, а Немирович-Данченко со вкусом употребил свою порцию в два приема.

На них деликатно не обращали внимания, чтобы не смущать, продолжая степенный хозяйственный разговор.

– Три десятины, а маю с них четырех коней, трех коров, овец десятка два.

– И все – с трех десятин?

– Да вот-те крест!

– Да что ж за земля у вас такая?

– А такая, что хоть на хлебушек ее мажь. При деде родила, при отце родила, при мне родит и при внуках моих родить будет.

– Чудеса прямо! У меня – я сам вятский буду – восемь десятин наделу, а боле одного коня да коровки поднять не могу.

– Надо правильный севооборот, – с немецким акцентом сказали через стол. – Земля отдыхать должна. Хлеб убрал, клевер посеял. А еще можно – горох или люпин.

– Чего?

– Цветок такой. Синий. Земле хорошо помогает. Потом скосишь, скотине скормишь.

– Скотину цветком не накормишь…

– Барышня, – вдруг, собравшись с духом, обратился к Наде немолодой рослый мужик. – Очень извиняюсь, конечно. Мир наказал блюдо резное для государя императора купить. Девятьсот шестьдесят восемь рубликов собрали. Вы, по всему видать, благородная, магазины знаете. А я в Москве как в звонком лесу, ей-богу! – Мужик широко перекрестился. – Одни дятлы кругом стучат.

– С большим удовольствием вам помогу, – обрадовалась Наденька. – Прямо после обеда и пойдем на Кузнецкий, если вы, конечно, не заняты.

– Вот спасибо, барышня, вот спасибо, вот уважила! – обрадовался волостной представитель.

– А деньги у тебя, дяденька, не стащат? – обеспокоенно спросила Феничка. – В Москве народ шустрый.

– Так мои капиталы вона где! – Мужик звучно хлопнул ладонью по голенищу. – А сапог я только в магазине и сыму, когда барышня укажет, чего покупать.

Они хлебали щи старательно, выскребав миски до дна, чтобы не обижать добродушных хозяев. А вышли из театра Корша целой группой, потому что многие волостные депутаты побаивались шумных московских магазинов.

– Поздравляю, мадемуазель, первый экзамен на журналиста вы сдали, – улыбнулся Василий Иванович. – Сейчас вам предстоит второй, и я вам тут не помощник. «Смело гребите навстречу прекрасному против течения!..»

Молодые люди долго, до самого вечера, водили волостных старшин по магазинам, подбирая не только то, что надо было купить, но и за приемлемые для крестьян цены. И блюдо для царского подарка удалось разыскать очень приличное: резное, отменной работы. Правда, стоило оно дороже собранных всем миром девятисот шестидесяти восьми рублей, но Ваня умудрился с глазу на глаз переговорить с хозяином, и тот ради такого случая согласился ровнехонько на спрятанную в сапоге сумму. Однако не без вздоха.

Потом они проводили довольных покупками волостных представителей к театру Корша, где долго и шумно прощались с ними, потому что всем хотелось в знак благодарности непременно пожать им руки и непременно – со всем чувством. А когда наконец прощание закончилось, условились с Ваней Каляевым, где встречаются следующим утром, и разошлись в разные стороны.

– Дядя Роман, с какими добрыми людьми я сегодня познакомилась! – с восторгом выпалила Надя, едва переступив порог.

И с подробностями изложила события этого необыкновенного и – верила – незабываемого дня.

– Дай тебе Бог, Надюша, не скоро разочароваться, – невесело улыбнулся Хомяков.

3

Дожди шли беспрестанно, будто не май стоял на дворе, а гнилой, холодный октябрь. Лужи сверкали на мостовых и тротуарах, уже не впитываясь в мокрую землю, было ветрено, сыро и промозгло.

Шли дожди, но шли и работы. Москва продолжала украшать себя, и никто, в общем-то, не жаловался, кроме, разве что, маляров. Наденька, Ваня Каляев и Феничка ежедневно бродили под зонтиками по этой гигантской и очень оживленной строительной площадке, не забывая заглядывать в артель, где работал мастер на все руки Николка, если, конечно, было по пути.

Вологодов не появлялся, занятый по службе выше головы, и Надя уже подумывала, что не заглядывает он потому, что ему стыдно за пышные свои обещания. Но от этих мыслей ей почему-то было немножко грустно.

Но он пришел. Точнее, заглянул буквально на минуточку, «на одну сигару», как называл Роман Трифонович такие визиты. Однако, кроме выкуренной с Хомяковым сигары, Викентий Корнелиевич успел сказать Наде самое главное:

– Государь прибывает на Брестский вокзал поездом с Николаевского вокзала в пять тридцать пополудни. Мне выделен кабинет для служебных надобностей, куда я готов провести вас, Надежда Ивановна, а также ваших друзей, но не менее чем за полтора часа до прибытия царского поезда. Так что, бога ради, извините за все неудобства разом: и ждать придется долго, и выходить из того кабинета не… не рекомендуется.

– Благодарю вас, Викентий Корнелиевич, – тепло улыбнулась Наденька. – Очень вам признательна, в указанное время мы будем перед вокзалом.

И покраснела вдруг, но отнюдь не от смущения, а от обжигающего чувства горделивости. Взрослый, занятой человек все-таки свершил для нее невозможное…

Вокзал западных направлений, официально именуемый Брестским, а москвичами – Смоленским, считался самым красивым вокзалом Первопрестольной. Конечно, не по этой причине государь затеял дополнительный переезд с Николаевской на Брестскую железную дорогу. Просто отсюда было значительно ближе до избранной им на время коронации резиденции – Петровского путевого дворца, в котором останавливались царствующие особы еще в те времена, когда не существовало железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Москва.

По этой дороге государь и следовал в Москву на собственную коронацию. В Клину к нему присоединился прибывший на специальном поезде его дядя великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор второй российской столицы. И пока они там официально и неофициально приветствовали друг друга, Вологодов проводил Наденьку, Ивана Каляева и Феничку во временно отданный в его распоряжение служебный кабинет на втором этаже вокзального здания, окна которого выходили как на перрон, так и на привокзальную площадь.

– Прощения прошу, но вынужден вас запереть, – виновато улыбнулся Викентий Корнелиевич. – Ключ только у меня, вас никто не потревожит.

Он вышел, и молодые люди тотчас же бросились к наружным окнам, чтобы успеть как следует разглядеть площадь, пока не прибыл царский поезд.

Огромная толпа народа терпеливо мокла под косым холодным дождем. Перед нею на одинаковом расстоянии друг от друга стояли полицейские чины в потемневших от влаги белых мундирах.

А вся площадь, куда только не достигал взор, была увешана яркими полотнищами, флагами и русскими гербами. Прямо перед ними высились две колонны, с которых спускались огромные трехцветные стяги. По синему полю каждого полотнища золотом были вышиты инициалы Их Императорских Величеств: «Н» и «А». Рядом с ними расположился конвой из офицеров шефских полков: лейб-казаки в красных мундирах; гусары – в белых, с опушенными ментиками; уланы в круглых черных касках с черным четырехугольным навершием, подбитым алым сукном; конногвардейцы с золотыми орлами, увенчанными коронами; кавалергарды с серебряными орлами; кирасиры в блестящих кирасах; павловцы в высоких, наклоненных вперед касках. Все они совершенно неподвижно сидели под мелко сеющим дождем в седлах, пока позволяя своим лошадям всхрапывать и мотать мокрыми мордами.

А чуть в стороне от них у центрального подъезда стояли два экипажа: закрытая карета в паре серых, в яблоках, рысаков и открытая русская тройка.

– Государь с государыней поедут на тройке, если не будет дождя, – шепнула Надя.

Молодые люди смотрели жадно, стремясь уловить и запомнить мельчайшие подробности. Все казалось настолько необычным, интересным и значительным, что обмениваться впечатлениями пока казалось попросту недопустимой тратой драгоценного времени. А в пять часов с платформы донеслись крики, и они бросились к противоположному окну, выходящему на подъездные пути.

В крытой галерее центрального перрона был выстроен эскадрон почетного караула лейб-гвардии уланского Ее Императорского Величества Александры Феодоровны полка со штандартом и трубачами под начальствованием великого князя Георгия Михайловича. И вскоре стало слышно, как кричат махальщики:

– Едет! Едет!

Из павильона на платформу, к которой ожидалось прибытие царского поезда, начали выходить встречающие. Великие князья Владимир Александрович с сыновьями, Константин Константинович, Дмитрий Константинович, Николай Николаевич, Михаил Николаевич. Князья Романовские, принцы Ольденбургские, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, принц Генрих Прусский. Генералы, сановники, члены Государственного совета, министры, свита Его Величества, московский губернатор, губернский предводитель дворянства и городской голова.

– А генералов-то, генералов!.. – шептала пораженная многоцветием мундиров Феничка.

С торжественной медлительностью подошел поезд и так мягко, так плавно остановился, что казалось, будто он причалил. Открылись двери, и после императора и императрицы в строгой очередности начали выходить прибывшие. Августейшая дочь Их Величеств малютка великая княжна Ольга Николаевна впервые появилась в Москве на руках камер-фрейлины, следом шли великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна и московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович.

Государь в форме гренадерского Екатеринославского Императора Александра Третьего полка принял рапорт главного начальника войск великого князя Владимира Александровича, поздоровался со встречающими и обошел фронт почетного караула. Оркестр заиграл гимн, и церемониал встречи был закончен.

А дождь продолжал идти, и императорская чета отбыла в Петровский дворец в закрытой карете, на запятках которой стоял до костей промокший лейб-казак. Офицерский конвой, блеск которого тоже слегка полинял под беспрерывным дождем, сопровождал карету от Брестского вокзала до путевого Петровского дворца.

Молодые люди дружно вздохнули. Впервые с того момента, когда Вологодов деликатно повернул ключ в дверях.

– Красота-то какая! – восторженно сказала Феничка. – Нарядные все такие.

– Знаете, я ощутила почти священный трепет, – призналась Наденька.

– От лицезрения первых особ государства Российского? – улыбнулся Каляев.

– Это же – сама история. Олицетворение истории.

– Это всего-навсего немецкие курфюрсты, дорвавшиеся до русского престола.

– Ну как же можно так говорить, Ваня?

– А что для вас история, Надежда Ивановна? Перечень знаменательных дат? Героические биографии выдающихся личностей? Запас знаний, почерпнутых из учебника? Может быть, кафтаны, опашни, горлатные шапки да гридни с серебряными топориками?

– А для вас, Иван Платонович? – сухо спросила Надя.

– История – душа народа. Дух его, как утверждал Гегель. Дух, а не форма. А у нас – форма, но уж никак не дух. В таком выражении история делается безнравственной, Надежда Ивановна. Безнравственной, лживой и мертвой.

– Вы переполнены злым и фальшивым революционным пафосом, господин Каляев, – сухо отпарировала Надежда, неожиданно горделиво вскинув подбородок. – В конце концов, это наша история. Наша.

– Наша история – дворянское сочинение. – Каляев покраснел, как помидор, но не сдавался. – Ее переписывали, переписывают и будут переписывать в угоду правящему классу.

– История – прежде всего наука.

– Только не в России, Надежда Ивановна, только не в России, забудьте об этом. Может быть, где-то, у кого-то – не исключаю, хотя и в этом не уверен. Но у нас она – до сей поры искусство, как у древних греков. Разница лишь в том, что они об этом говорили откровенно, вспомните музу Клио. Какая еще наука имеет музу-покровительницу? Только одна. История. – Каляев неожиданно мягко улыбнулся. – Извините меня, но вам снятся волшебные сны.

– А вам мятежные, господин мятежник?..

Бесшумно повернулся ключ, открылась дверь, и в кабинет вошел Викентий Корнелиевич.

Глава шестая

1

На другой день дождь прекратился, в рваных облаках изредка уже начало появляться солнце, но Наденька решительно отказалась от прогулки, и Ваня напрасно ждал ее на Страстной под памятником Пушкину. Объявила, что плохо себя чувствует, закрылась в своих комнатах, пыталась читать, музицировать, даже рисовать, но все бросала, едва начав. Ее терзала какая-то не очень понятная ей самой обида. Не потому, что вчерашний гимназист осмелился ей противоречить, отстаивая собственную точку зрения, а потому… «Это все фанфаронство какое-то, плохо переваренные чужие идеи. Мальчишка, а гонору!.. И как он смеет так говорить о великой русской истории! Как он смеет говорить о государе!.. Волшебникам снятся волшебные сны, мятежникам снятся мятежные сны… Нет, я не хочу с ним больше встречаться. Я просто не должна этого делать. Это… Это непозволительно, в конце концов!..»

Непозволительным во вчерашнем поведении вчерашнего гимназиста Вани Каляева было только одно: влюбленный отрок – а то, что он вдруг влюбился и… и потащился за нею, как шлейф, Наденька чувствовала интуитивно – осмелился перечить предмету своей влюбленности. Вот что оказалось пороховым запалом ее возмущения, но думать об этом Надя не желала, категорически отвергая даже самые робкие попытки своей собственной разумной логики.

А в Москве набирала силу увертюра к грядущему знаменательному событию: акту священного коронования государя императора и государыни императрицы. В среду, восьмого мая, лучшие артисты московских и петербургских театров пели серенаду у Петровского дворца, и государь изволил лично поблагодарить их. В четверг состоялся торжественный переезд Их Императорских Величеств в Александрийский дворец. Великолепное шествие, начавшись у Петровского дворца, неспешно продолжилось по Тверской вплоть до Кремля под беспрерывное «Ура!» и восторженные клики народа. И в том, что Наденьке не удалось увидеть государя и государыню собственными глазами, конечно же виноватым был только дерзкий господин гимназист.

Капитан Николай Олексин стоял во главе своих солдат в живом коридоре, сквозь который промчался блестящий царский кортеж, после чего сразу же навестил Хомяковых, поручив отвести роту в казармы своему субалтерн-офицеру. И Наденька, не устояв, спустилась вниз, но слушала любимого брата молча.

– Государь показался мне очень усталым, – рассказывал Николай. – Какая-то нездоровая, почти землистая бледность просвечивала даже сквозь его рыжеватую бородку.

– В государственную лямку с разбега впрягся, а Россия – баржа тяжелая, – усмехнулся Роман Трифонович.

И это замечание почему-то не понравилось Наде, но и здесь она промолчала.

А на следующее утро решила все же выйти из дома. Уж очень заманчиво светило солнышко после затяжных холодных дождей.

– Погуляем у Патриарших прудов, – сказала она Феничке. – Там, слава богу, народу поменьше.

«Туда Ваничка дорожки не знает!..» – догадалась Феничка.

Патриаршьи пруды находились совсем рядом со Страстной площадью, но там и вправду было тихо. Грелись на солнышке отставные полковники, пожилые матроны торжественно восседали в тени вместе с приживалками, няни прогуливали детишек. Девушки немного погуляли по аллеям, а затем, выбрав уединенную скамейку на берегу, чинно уселись рядышком.

– Тихо-то как, – вздохнула не умеющая долго молчать Феничка. – Будто за сто верст…

– Ну и очень хорошо.

– Скучно, барышня, – помолчав, вновь начала неугомонная горничная. – Может, мне на Тверскую сбегать, а вы пока почитаете? Книжку вашу я захватила. Вы не беспокойтесь, вон городовой стоит. Я его предупрежу, чтоб поглядывал.

Она говорила с определенной целью и готовилась убеждать свою барышню, чтобы та разрешила ей недолгую отлучку. Но, к ее удивлению, Наденька согласилась тотчас же:

– Ступай, Феничка. Я почитаю пока.

Феничка сорвалась с места тут же. По дороге не забыла подойти к городовому, что-то строго – даже пальчиком погрозила – наказать ему, после чего умчалась. А городовой развернулся к Наде лицом и замер, как изваяние.

Надя раскрыла книжку, но смотрела мимо страниц. Она сразу же поняла, куда так настойчиво рвется ее горничная, и сейчас думала, удастся ли Феничке найти возмутительно дерзкого господина Каляева и что именно Феничка ему скажет.

– Здравствуйте, барышня.

Наденька вздрогнула, подняла голову. Перед нею стояла немолодая нянька, в заметно поношенном платье и темном платочке, с детской коляской.

– Грапа?..

– Теперь обратно Аграфена, – грустно улыбнулась ее прежняя горничная. – Теперь я не у господ служу, а поденно чиновничье дитя прогуливаю. По два часа, кроме воскресений. Уж и не поверите даже, до чего же я рада, что вижу вас.

– Садись, садись рядышком, Гра… Малыш спит?

– Спит. Хорошее дите, тихое. – Грапа осторожно присела на скамью. – Вы-то как, барышня? Не хвораете?

– Нет, нет. Грапа, милая… Ничего, что я так называю? Так привычнее. – Наденька решительно глянула в глаза. – Я очень виновата перед тобой, ты уж прости меня.

– Ни в чем вы не виноваты, барышня, – вздохнула нянька. – Яблочко само наливается, своими соками. Само и вкус свой попробовать должно.

– Дядя Роман из-за меня тогда тебя выгнал.

– Не держу я на него сердца, вот-те крест, барышня, – очень серьезно сказала Грапа и перекрестилась. – Верно он поступил, как настоящий хозяин поступил, и я на него не в обиде. Ну, сами посудите, можно ли врунью-прислугу держать? Это что ж за хозяйство будет, коли слуги господ обманывать начнут? Порушится все. Нет, большой хозяин за всех смотреть должен, барышня. И мыслить за всех.

– Но ведь я же тебе солгать тогда велела, я, – сокрушенно вздохнула Наденька.

– Кабы велели, так еще неизвестно, что было бы, – ласково улыбнулась горничная. – Нет, барышня, вы не велели, вы попросили меня. Двадцать лет я в услужении, и за двадцать этих годов только вы одна меня попросили. Будто просто старшую…

– Грапа!..

Наденька, расплакавшись вдруг и, казалось бы, ни с того ни с сего, упала на грудь своей бывшей горничной.

– Ну, успокойся, успокойся, девочка. – Грапа осторожно гладила Надю по голове, сдвинув шляпку куда-то на сторону. – Ну кто ж знал, что так оно все обернется? Молодая брага всегда из кадушки лезет. Как Феничка-то твоя? Добро ли тебя обихаживает?

– И про Феничку знаешь? – улыбнулась Наденька, подняв зареванное лицо.

– Слезки-то вытрите, барышня, на нас вон городовой смотрит. А про вас я все знаю, мне Евстафий Селиверстович всегда все рассказывает, встречаемся мы с ним.

– Я дядю упрошу, Грапа…

– А вот этого делать нельзя ни в коем разе, – строго сказала нянька. – Хозяин правильно поступил, а правильные слова обратно не берут.

– Он добрый. Он все поймет.

– Хозяин не только добрым быть должен, но обязательно даже строгим. Иначе какой же с того прок, что он хозяин? У такого и разворуют все, и слуги от рук отобьются. Вы об этом и не думайте вовсе, тут все по совести Романом Трифоновичем сделано. Вы лучше про жениха своего расскажите.

– Какого жениха? – Надя сурово сдвинула брови.

– Видного да солидного, при хорошей службе. Мне Евстафий Селиверстович говорил, кто к цветочку моему повадился.

– Уж не господин ли Вологодов? – Наденька как-то не очень естественно рассмеялась. – Да какой же он жених, Грапа милая? Он же старик.

– Он в летах, – строго поправила Грапа. – Жених вызревший. А уж любить-то вас как будет!..

– Это совершенно невозможно, – очень серьезно сказала Надя, начав тем не менее краснеть. – Это…

– Это на небесах решают, – неожиданно перебила горничная и встала. – Феничка ваша бежит. Приходите сюда, барышня, чтоб могла я хоть изредка полюбоваться на вас. Я по будням тут с дитем гуляю. Спаси вас Христос.

Она ушла в противоположную сторону, толкая перед собой старенькую коляску. Подлетела Феничка и рухнула на скамейку, обмахиваясь платочком.

– Поклон вам.

– Что ты сказала? – спросила Наденька, продолжая думать о неожиданном свидании с прежней горничной.

– Сказала, что болеете вы, но ко дню коронации непременно поправитесь. Мы с вами на Страстную придем к памятнику Пушкину, вы и встретитесь.

– Не знаю, Феничка. Ничего я сейчас не знаю, – вздохнула Надя и встала. – Бывают ведь встречи…

– Бывают, барышня! – радостно засмеялась Феничка. – И непременно будут, потому что Ваничка наш с лица спал, хотя дальше вроде и некуда ему.

– А… а что говорил?

Зачем спросила, Надя и сама не знала. Неожиданное свидание с прежней горничной сейчас полностью занимало ее. Особенно многозначительные последние слова.

– Врал, как всегда. – Феничка беспечно рассмеялась. – Я, мол, у тетушки проживаю, и сплю там, и столуюсь там. А у самого руки в занозах да ссадинах.

– А почему в занозах?

– Вот и я спросила, почему, мол, в занозах. А он: печку, дескать, тетке растапливал! И опять, вражина, врет: кто же в Москве печки в мае растапливает, когда погода на лето перевалилась? И черемуха расцвела, и дуб распустился.

– Да, – задумчиво сказала Наденька. – Дуб распустился. Пойдем домой, Феничка.

– Так ведь и не погуляли еще.

– Нет, нет, пора. – Надя поднялась со скамьи. – Интересно, его пригласят на коронацию?

– Кого? – оторопело спросила Феничка. – Ваничку Каляева, что ли? Да кому он нужен там, барышня?

2

Девушкам не удалось ни встретиться с Ваней Каляевым, ни самим увидеть весь торжественный церемониал коронации. Однако учитывая, что эта коронация оказалась последней в истории России, автору представляется, что об этом событии следует рассказать подробно.

Так, как оно было описано в газетах и журналах того времени, ничего не прибавляя, но ничего и не убавляя.

СВЯЩЕННАЯ КОРОНАЦИЯ
ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ

Ко дню, назначенному для коронации, двор между Кремлевским дворцом и соборами и внутренность Успенского собора приняли совершенно особый, своеобразный вид. От Красного крыльца к Успенскому собору и от Успенского собора к Архангельскому, вокруг колокольни Ивана Великого, а из Архангельского собора к Благовещенскому устроены были особые широкие (в рост человека поднятые над землей) помосты, с перилами, крытые красным сукном. Внутри собора, на средине, возвышенное место, обитое также красным сукном, и на том месте поставлены два древних царских трона, к которым из алтарного амвона ведут двенадцать ступеней, устланные бархатом и богатейшими коврами. Сверху, над этими царскими тронами, из коих один предназначается для Императора, а другой для Императрицы, опускается обширный, висячий, великолепно разукрашенный золотом бархатный балдахин, подвешенный на особых связях к цепи, укрепленной в сводах собора. Около Императорского трона ставится на том же возвышении стол для возложения на нем регалий во время самого «чина величания».

Эти регалии, в канун коронования, переносились торжественно из Оружейной палаты сначала во дворец, а потом в Успенский собор.

В день, назначенный для коронации, съезд и сбор лиц, назначенных к участию в коронационных церемониях или допущенных к присутствованию в Успенском соборе, начинался в семь часов утра и ранее. Торжественный благовест во всех церквах и определенное число выстрелов из орудий в девятом часу утра возвещали всему городу о начале высокознаменательных торжеств.

В девять часов утра Император и Императрица, сопровождаемые своими ближайшими родственниками и окруженные свитою из первейших сановников государства, направляются из Кремлевского дворца Красным крыльцом и помостом к Успенскому собору.

Высшие представители духовенства – митрополиты и архиереи, с соборным духовенством и клиром, встречают Государя и Государыню на рундуке собора у входных дверей. Старший из митрополитов приветствует Императора краткою речью, после чего подносит Ему крест и кропит св. водою. Певчие поют в это время 100-й псалом: «Милость и суд воспою Тебе, Господи!»

Затем Император и Императрица троекратно преклоняются перед Царскими вратами, прикладываются к местным иконам и восходят на тронное место, около которого все лица, участвующия в церемонии, располагаются в строгом порядке, по церемониалу.

Тогда старший из митрополитов, приступая к Государю, произносит: «Понеже благоволением Божиим и действием Святаго и Всеосвящающаго Духа и Вашим изволением, имеет ныне в сем первопрестольном храме совершитися Императорское Вашего Величества Коронование и от святаго мира помазание; того ради, по обычаю древних христианских Монархов и Благовенчанных Ваших Предков, да благоволит Величество Ваше, в слуг

верных подданных Ваших, исповедати Православно-Кафолическую Веру – како веруеши?»

В ответ на это Император по книге, поданной митрополитом, читает «Символ Веры».

Митрополит по прочтении Государем «Символа Веры» возглашает: «Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою. Аминь».

И сходит с тронного места, а протодиакон после обычного начала приступает к великой ектении.

Когда пропоют тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя», – следует чтение пророчества Исаии: «Тако глаголет Господь: радуйтеся небеса, и веселися земле, да отверзут горы веселие и холми радость, яко помилова Господь люди Своя, и смиренныя людей Своих утеши» и т. д.

Затем, после прокимна: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь», читается послание св. Апостола Павла к римлянам (глава Тринадцатая, 1–7: о повиновении властям).

За чтением «Послания» следует чтение св. Евангелия от Матфея (глава Двадцать первая, 15–22: «воздадите убо Кесарево – Кесареви, Божие – Богови»).

Затем два митрополита всходят на тронное место, Император снимает с себя простую цепь Андрея Первозваннаго и повелевает возложить на себя Императорскую порфиру с принадлежащей к ней алмазной цепью того же ордена. По возложении порфиры, Император преклоняет голову. Митрополит осеняет верх главы Государя крестным знамением, крестообразно возлагает на оную руки и произносит во всеуслышание, по положению, две молитвы:

1. «Господи Боже наш, Царю царствующих и Господи господствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба своего Давида и помазавый в цари над людом Твоим Израилем. Сам и ныне услыши моление нас недостойных и призри от Святаго Жилища Твоего на верного раба Твоего Великаго Государя Николая Александровича».

2. «Тебе Единому Царю человеков поклони выю с нами, Благоверный Государь, Ему же земное Царство от тебе вверено».

По прочтении второй молитвы Император повелевает подать себе большую Императорскую корону. Митрополит принимает корону от ассистентов и представляет ее Его Величеству. Государь Император берет корону в обе руки и возлагает ее на главу Свою, при чем митрополит произносит: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

И засим митрополит читает по книге установленную следующую речь: «Видимое сие и вещественное Главы Твоея украшение явный образ есть, яко Тебя, Главу Всероссийского народа, венчает невидимо Царь славы Христос, благословением Своим благостынным утверждая Тебе Владычественную и Верховную власть над людьми Своими».

По окончании этой речи Государь повелевает подать Ему скипетр и державу, и митрополит подает Ему в правую руку скипетр, а в левую – державу, произнося то же, что и при поднесении короны, и вновь произносит по книге следующую речь: «О, Богом Венчанный, и Богом Дарованный, и Богом Преукрашенный, Благочестивейший Самодержавнейший Великий Государь Император Всероссийский, приими Скипетр и Державу, еже есть видимый образ данного Тебе от Всевышняго над людьми Своими Самодержавия к управлению их и ко устроению всякого желаемого им благополучия».

По окончании этой речи Государь, приняв скипетр и державу, садится на престол.

Немного спустя Государь откладывает скипетр и державу на поданныя Ему подушки и призывает к Себе Государыню Императрицу. Государыня преклоняет колена на подушке, положенной у трона Государева, а Он, сняв с Себя корону, прикасается ею к голове Императрицы и снова возлагает корону на Себя. Тогда Государю подносят меньшую корону, которую Он возлагает на голову Своей Августейшей Супруги.

После того Государю подносят на подушках порфиру и алмазную цепь ордена Св. Андрея Первозваннаго, и Государь возлагает обе эти регалии на Государыню. Государыня, облеченная в порфиру и с короною на голове, поднимается, приближается к Государю, и Государь целует Свою Августейшую Супругу.

Затем Государыня возвращается к Своему престолу; Государь опять принимает скипетр и державу и садится на престоле, а протодиакон возглашает полный титул Государя Императора и заканчивает многолетием. Певчие тотчас же подхватывают «Многая лета».

Многолетие сопровождается торжественным трезвоном и положенным салютом орудий. После многолетия Государь принимает поздравления от Членов Августейшей Семьи и от духовенства.

Когда звон и пальба прекратятся и в соборе вновь воцарится тишина, Государь поднимается с престола, отлагает скипетр и державу, преклоняет колена и по книге, поданной митрополитом, читает следующую установленную молитву:

«Господи Боже отцев и Царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим, и премудростию Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал Мя еси Царя и Судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твое о Мне смотрение и, благодаря, величеству Твоему поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи Мой, настави Мя в деле, на неже послал Мя еси, вразуми и управи Мя в великом служении сем. Да будет со Мною приседящая престолу Твоему премудрость. Посли ю с небес святых Твоих, да разумею, что есть угодно пред очима Твоима, и что есть право по заповедем Твоим. Буди сердце Мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных Мне людей, и ко славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово: милостию и щедротами единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, во веки, аминь».

После этой молитвы Государь становится перед троном, а митрополит и все присутствующие в храме, кроме Государя, преклоняют колени, и митрополит от лица всего народа произносит молитву за здравие Государя, прося Ему у Бога дарования всех благ. Вслед за этою молитвою митрополит обращается к Государю с краткою приветственною речью.

Певчие поют: «Тебе Бога хвалим» – и этим чин священного коронования заканчивается.

Начинается божественная литургия. В начале ея Государь Император снимает с Себя корону, отлагает скипетр и державу. По прочтении Евангелия архиереи подносят его к Их Императорским Величествам: Государь и Государыня прикладываются. Затем, когда архиереи, взойдя на тронное место, возвещают Государю, что «миропомазания и Святых Божественных

Тайн приобщения приближается время» – Государь и Государыня торжественно шествуют к царским вратам, а высшие государственные и придворные чины, согласно церемониалу, становятся против царских дверей, поодаль, полукружием.

Митрополит помазывает Государя на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках (по обе стороны). Приняв святое миропомазание, Государь отходит в сторону, к иконе Спасителя, а Государыня подходит к митрополиту, который помазывает Ея на челе, после чего Государыня отходит к иконе Божьей Матери.

Святых тайн Государь приобщается в алтаре, перед святой Трапезою, по «чину царскому», как священнослужители, то есть особо Тела и особо Крови Христовой. Государыня приобщается у царских врат, обычным порядком.

После приобщения и Государь, и Государыня возвращаются на тронное место, к престолам Своим. Следуют благодарственныя причастныя молитвы, отпуск и многолетие. В заключение литургии митрополит подносит Их Императорским Величествам крест, и Государь, и Государыня к нему прикладываются. После этого Государь возлагает на Себя корону, берет скипетр и державу. Все присутствующие в соборе, не сходя со своих мест, троекратным поклоном приносят Их Величествам поздравление с благополучно совершившимся коронованием и святым миропомазанием.

После этого Государь выходит из собора северными дверьми и шествует под балдахином, облеченный в порфиру, с короною на главе, со скипетром и державою в руках, из Успенскаго собора в Архангельский. С Ним, под тем же балдахином, шествует и Государыня (но не рядом, а несколько позади), также облеченная в порфиру и с короною на голове.

В Архангельском соборе, встреченные и провожаемые духовенством, Их Величества поклоняются гробам Своих царственных предков и переходят в собор Благовещенский, а оттуда направляются на Красное крыльцо, с котораго кланяются народу, и удаляются на время во внутренние апартаменты.

В тот же день имеет быть торжественное пиршество в Грановитой палате, во время котораго Государь и Государыня сидят за столом на тронах, облеченные всеми знаками царскаго достоинства, под великолепным балдахином, а высшие чины Двора прислуживают Государю и Государыне. За трапезой было произнесено пять тостов за здравие:

1. Государя Императора – за рыбой.

2. Государыни Императрицы Марии Феодоровны – за барашком.

3. Государыни Императрицы Александры Феодоровны – за заливным из фазанов.

4. Всего Императорского Дома – за жарким.

5. Духовных Особ и всех верноподданных – за сладким.

В самый день коронации, вечером, зажигается великолепная иллюминация, которая нынче обещает быть особенно блестящею, благодаря преобладающему значению, приобретенному электричеством в освещении наших столиц.

Так торжественно и благостно звучало описание коронации в журналах и газетах того времени. Но в дневниках и письмах свидетели были куда откровеннее:

«…Корона царя так была велика, что ему приходилось ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась…»

«…Бледный, утомленный, с большой императорской короной, нахлобученной до ушей, придавленный тяжелой парчовой, подбитой горностаем, неуклюжею порфирою, Николай Второй казался не величавым императором всея Руси, не центром грандиозной процессии, состоявшей из бесчисленных представителей всевозможных учреждений, классов, сословий, народностей громадного государства, а жалким провинциальным актером в роли императора…»

3

Надя и Феничка бегали посмотреть если не на коронацию, то хотя бы на коронационную суету Москвы. Народу оказалось много, протолкались весь день, устали, но с Ваней Каляевым так нигде и не встретились. Ни случайно, ни нарочно.

Вечером Роман Трифонович вывез семейство полюбоваться иллюминацией. На отличной паре вороных – сначала по центру города, где парные экипажи пропускали беспрепятственно, а затем и на Воробьевы горы, откуда залитая огнями Москва была как на ладони. И они радостно узнавали знакомые очертания церквей, башен и ворот.

– Первопрестольной любуетесь?

Гора с горой не сходится, но с Василием Ивановичем Немировичем-Данченко в тот вечер пути сошлись. И Хомяков весьма этому случаю обрадовался, поскольку гостей из гордости не приглашал, а Николай и ставший уже почти своим Викентий Корнелиевич отсутствовали по делам служебным.

– Ужинаем у нас, Василий Иванович. Отказов не принимаю.

– Помилуй, друг мой, мне статью писать.

– Ночью напишешь.

– Вот в Петербурге никогда бы не встретились, ни на каком гулянии, – говорил Немирович-Данченко на обратном пути. – Хоть там и улицы пошире, и площади попросторнее.

– Почему ж так?

– Петербуржец, Роман Трифонович, только перед собой и смотрит, точно на препятствие какое налететь боится, а москвич – всегда по сторонам зыркает. И если на другой стороне Тверской приятеля увидит, то тут же непременно остановится и заорет на всю улицу: «Иван Иваныч, а я-то вчера банчок у Петрова все-таки сорвал!» Это же принципиальная и чрезвычайно характерная разница, господа, а потому – да здравствует Москва!

– Только в этом и отличие? – спросила Варвара, скорее поддерживая разговор, чем и впрямь интересуясь.

– Не только, Варвара Ивановна, не только. Петербуржец вежлив и прохладен, как первый морозец, а москвич грубоват и аппетитен, как тертый калач с пылу с жару. Крепенький, теплый и ароматный. Не отсюда ли и поговорка пошла?

– Глаз у тебя, Василий Иванович, по-журналистски пристрелян, – улыбнулся Хомяков.

– Глаз обязательно пристрелянным должен быть. Верно, Надежда Ивановна? Кстати, поклон вам и благодарность от волостных старшин. Очень вы им помогли.

– Знаете, мне хотелось им помочь.

– И они это вмиг почувствовали. Простые люди нашу господскую искренность чувствуют сразу, потому как исключительно редко с душевной искренностью в жизни встречаются. Чувствуют и очень ценят. Очень. Учтите это, коллега.

Наде было приятно до смущения. Хорошо, был вечер, улица, по которой сыто рысили кони, не освещена, и румянца ее никто не успел заметить.

– Значит, второй экзамен я тоже сдала?

– Сдали, мадемуазель, сдали, но сколько их еще впереди!

– Сколько же?

– У журналиста каждый день – новый экзамен. Такая уж у нас с вами профессия.

Наденька слушала, чистосердечно полагая, что и впрямь уже сдала некий экзамен, что известный корреспондент оценил ее способности, что отныне ей требуется только опыт и – ну, чуть-чуть, совсем немного! – протекции авторитетного лица. Конечно, само словцо-то звучало довольно омерзительно, но Надя утешала себя тем, что ее цель выглядела вполне достойно. И после ужина, когда все способствовало приятному отдыху за коньяком, кофе и ликерами, рискнула продолжить этот разговор:

– Василий Иванович, смею ли я рассчитывать на вашу протекцию, если вы одобрите то, что я когда-нибудь напишу?

– Нет, еще раз – нет, и ни в коем случае, – не задумываясь и весьма сурово отрезал Немирович-Данченко. – Есть профессии, в которых это не просто невозможно или неэтично, а которым это противопоказано категорически. Нельзя по протекции стать артистом, художником, писателем или журналистом, к примеру. Такие профессии штурмуют в одиночку, водружая победное знамя без посторонней помощи. Тогда вам обеспечена не только карьера, но и признание коллег. Впрочем, место признания может занять и остракизм, и открытая недоброжелательность, но это уже нечто, напоминающее орден Святого Андрея Первозванного: признание вашей несомненной исключительности.

– Недоброжелательное признание? – переспросил Хомяков. – Некое доказательство от противного существует не только в богемной среде. Зависть – черта общечеловеческая, почему она никогда не бывает инстинктивной. А за журналистикой – будущее, так что готовься к житейским неприятностям, Надюша.

– Тут мы с тобой, Роман Трифонович, сходимся полностью, – оживился Василий Иванович. – Я тоже считаю, что при развитии цивилизации журналистика обречена превратиться в простую передачу фактов, в информацию о текущих событиях, если угодно. Журналистам уже некогда будет ни размышлять, ни сравнивать, потому что их затопят факты. Сейчас уже опробуется искровой способ связи, насколько мне известно. Я безгранично верю в прогресс и убежден, что вскоре этот способ станет простым, надежным и, главное, быстрым. И тогда информация получит возможность идти в ногу с событиями и даже, вероятно, предсказывать их. И тут уж кто успел, тот и победитель.

– И что же в этом дурного? – спросила Варвара: она пыталась поддерживать разговор, хотя ей было совсем неинтересно и очень хотелось спать.

– Дурное – в лавине фактов, предполагающих их отбор и дозировку. С чем ознакомить почтеннейшую публику, на что намекнуть, а о чем и вовсе промолчать.

– Да, политики двадцатого века получат могучее оружие воздействия на людские души, – сказал Хомяков. – Если под политикой разуметь ее сущность, то есть один из способов достижения власти, то господа политики будущего приобретут воистину огромные возможности. Диктаторский приоритет формы над содержанием.

– Форма и содержание – диалектические понятия, – возразила Наденька. – А вы, господа, рассуждаете о реальной будущей жизни. О практике, но не о теории.

– Ты права, если подразумеваешь природу, Надюша. Да, в ней все подчинено диалектическому равновесию формы и содержания, а если оно где-то нарушается, вступают в действие законы, открытые Дарвином, и все опять на какое-то время приходит в равновесие, потому что в природе господствует инстинкт. Но в человеческом обществе господствует воля. Одного ли человека, группы людей или определенного класса – это не столь уж важно. Важно, что эта воля подкреплена силой. Армией, полицией, капиталом.

– И что же далее, дядя Роман?

– А далее – как прикажете. Прикажете, и форма будет сохранена вопреки требованиям содержания. Или, наоборот, разрушим форму во имя сохранения устаревшего содержания. В человеческом обществе все в руках людей, а не мудрой, неспешной и оглядчивой матушки-природы, Надюша.

– Отсюда – бунты, мятежи, революции, которые всегда есть сигнал воспаленных противоречий между формой и содержанием, – добавил Василий Иванович. – И всегда только через кровь, через муки людские.

– А у нас, в России, есть равновесие между формой и содержанием?

– Увы, Надежда Ивановна. – Немирович-Данченко беспомощно развел руками.

– Есть упоение формой, – проворчал Хомяков. – Восторг перед нею. Ради этого неуемного восторга заново возродили кирасы, ментики, закоснелые ритуалы, которые мы упорно выдаем за исторические традиции. А главное – значимость мундира как такового. Он заменяет собою природную смекалку, инициативу, ум, совесть и нравственность. В России до сей поры куда лучше родиться в поношенном отцовском мундире, нежели в собственной богоданной рубашке.

– Браво, Роман Трифонович, – рассмеялся Василий Иванович. – Прекрасный спич. Между прочим, Европа это давно поняла и сейчас прилагает все усилия, чтобы разумно и спокойно уменьшить разрыв между формой и содержанием. Но, к сожалению, у нас – свой путь. Особый. Непонятно, правда, куда.

– Прямиком в революцию, – убежденно сказал Хомяков. – В бунт, беспощадный, но, даст бог, в грядущий раз не слишком уж бессмысленный.

– Какое мрачное предсказание, – вздохнула Варвара. – Бог с вами, господа.

– Мрачное – может быть, не спорю. Но не такое уж необоснованное, коли вспомнить, о чем мы начали этот разговор. Если в двадцатом веке искровой способ передачи известий, о котором говорил Василий Иванович, и впрямь станет массовым, правители получат страшное оружие воздействия на темные людские массы. При полной безграмотности нашего народа это особенно опасно: русский человек приучен верить словам, как ребенок.

– Поэтому его очень легко превратить в толпу, – вздохнул Немирович-Данченко. – А толпа – всегда зверь. Скопище вмиг потерявших рассудок людей. Потерявших разум, заветы Нагорной проповеди, элементарные приличия, общечеловеческую мораль, нравственность, сострадание к ближнему своему. Человек в толпе возвращается туда, откуда вырвался с неимоверным трудом, – в первозданную дикость, живущую инстинктами.

– Мне кажется, что вы слегка преувеличиваете, Василий Иванович, – улыбнулась Варвара. – Русский человек прежде всего совестлив, добр, отзывчив, великодушен. Вспомните любимых им былинных богатырей, его внутренний идеал.

– Дай-то бог, Варвара Ивановна. Дай-то бог…

На том и закончился тогда этот очень важный для Наденьки разговор. Посидели еще немного, потолковали о пустяках, но тут неожиданно каким-то образом вновь всплыла тема Наденькиных надежд и мечтаний, и Василий Иванович позволил себе легкую шутку:

– Дамы берут интервью только в Америке, мне Макгахан рассказывал, так что не забивайте этим свою прелестную головку. Вы – сказочница и по письму, и по натуре. Смотрите волшебные сны и пишите деткам сказки.

Надежда вспыхнула, но сдержалась, и Немирович-Данченко вскоре распрощался. А Наденька, поднявшись к себе, разбудила задремавшую Феничку.

– Смотрела иллюминацию?

– Красота-то какая, барышня! Ну, будто в сказке…

– Господина Каляева нигде не видела?

– Толкотня такая, барышня, где уж там.

– Знаешь, кажется, он тогда был прав. И я зря его обидела. И мне очень стыдно.

– Завтра же разыщем. Куда он от нас денется?

Но Ваня Каляев все же куда-то делся. Правда, Феничке в конце концов удалось с ним встретиться, но – одной. Вечером, на который как раз выпал званый ужин в честь корона-

ции государя. Хомяковы давали его, естественно, ради Наденьки, почему Феничке и пришлось идти одной.

– Разыскала я господина Ванечку! – радостно сообщила она. – Условились мы с ним, что послезавтра, в одиннадцать, встречаемся на Страстной, у памятника.

– А почему же не завтра?

– Тетка, говорит, у него заболела. Три дня подле нее сиднем сидел.

– Что ж, это даже лучше. На народное гулянье пойдем.

Но было, наверно, хуже, потому что Наденьке вдруг взгрустнулось перед сном…

Глава седьмая

1

В следующий вечер имело место быть торжественное представление в Большом театре в присутствии коронованных особ. Роман Трифонович снимал постоянную ложу на весь театральный сезон, но безропотно уплатил разницу ради особой торжественности предстоящего вечера. Хомяковы уже деятельно готовились к походу в театр – в особенности, естественно, Варвара, – когда Надежда вдруг решительно отказалась их сопровождать.

– Нет, Варенька. Извини, но я никуда не пойду.

– Роман, может, ты на нее воздействуешь? Это же так важно прежде всего для нее самой.

– Стоит ли, Варенька, воздействовать? Суета, мундиры, глупейшие светские условности. Пусть решает сама.

– Но она хотела идти с нами! Это же просто очередной каприз, как ты не можешь понять.

– Ветер в голове переменился. С девицами это случается, сама знаешь.

Наденька и вправду очень хотела идти в театр, но утром вдруг вспомнила шутливую эскападу Василия Ивановича и – взъерошилась. Понимая, что маститый журналист во многом прав, она тем не менее запоздало начала с ним спорить, хотя и спора-то никакого тогда не было, равно как и самого Василия Ивановича в данный момент. Это был как бы спор за захлопнувшейся дверью, он происходил только в ее воображении, но столь живо, столь реально, что Надя очень сердилась, стучала по курсистской привычке правым кулачком в левую ладонь, чтобы заново собраться с мыслями и начать спор по-иному, с новыми и – конечно же! – неотразимыми аргументами. Растратив попусту день, не сумела ровно ничего добиться, расстроилась, уморила себя, отказалась от театра, а когда все уехали, вдруг поняла, что спорить вообще бессмысленно. Что на любой ее довод поднаторевший в спорах Василий Иванович тут же найдет очередной убийственный контраргумент, да еще непременно и позлит ее при этом. «Я лучше уж напишу, – сердито решила она. – Я такой соберу материал, выведу таких оригинальных типов, подслушаю такие разговоры, что вы… Вы покраснеете с досады…» И тут же вспомнила о завтрашнем народном празднике на Ходынском поле, где будет множество простых москвичей, чьим мнением о коронации государя единодушно пренебрегла вся московская пресса. «Ах, вы расспрашивали представителей народа? – с долей злорадства подумалось ей. – Ну а я сам народ спрошу».

– Не скажут они вам ничего, барышня, – возразила Феничка, когда Надя с торжеством изложила ей свою идею. – Не приучены мы с господами разговаривать.

– Даже просто? По-людски?

– Да какое же просто между нами быть может? Вы – люди благородные, сразу видно. И по-людски не получится. Мужики молчать будут да ухмыляться, девки – хихикать, а бабы – на житье жаловаться. Негодная ваша мысль, уж поверьте.

– А как же я на маскараде первый приз получила? С твоей, Феничка, между прочим, помощью, ты из меня тогда горничную сделала.

Феничка весело рассмеялась:

– Так тогда ж вы для господ горничную изображали, они и поверили! А попади на ваш маскарад кто-либо из прислуги, вас бы тут же и опростоволосили. Простой народ, он своих чует.

– Значит, не поверят? – упавшим голосом спросила Наденька.

– Да ни в жисть! – убежденно сказала Феничка. – Только зря время потратите да ноги убьете.

– А мне так хотелось великому корреспонденту нос утереть…

– Никак такое не получится, барышня. Это господ обмануть легко, а нашу сестру…

Феничка неожиданно замолчала. Осторожно повернула свою барышню вправо-влево, задумалась.

– Что это ты меня вертишь?

– Нет, горничной никак невозможно. А вот ежели гувернанткой… Они ведь тоже люди подневольные.

– Господи, ну давай гувернанткой, – сказала Надя, по-олексински больше почему-то сердясь на себя самою за собственную бестолковость. – Юбка да блузка.

– Попроще, барышня. И кофтенку попроще. Ночи-то и по сю пору холодные стоят.

– Кофточку – так кофточку.

– Я подберу вам.

– Я сама! Сама, жди здесь.

– Ох, напрасно все это, барышня, – вздохнула Феничка. – Напрасно выдумываете, мы без маскарадов живем.

Неодобрительное то ли согласие, то ли несогласие горничной еще больше раззадорило Наденьку. Поспешно пройдя в свою гардеробную, она дважды переворошила собственные туалеты, но все же разыскала нечто и скромненькое, и как бы уж не слишком, подумав, что возвращаться придется при свете дня и при народе на улицах. Так, серединка на половинку, чтобы не выглядеть уж совсем скучно. Торопливо переоделась, вылетела в будуар, повертелась перед Феничкой.

– Ну как?

– Сойдет, – решила Феничка. – Юбка на резинке? Тогда повыше подобрать надо, как у меня.

Тут только Надя обратила внимание, что ее горничная тоже готова к походу. И даже повязала платочек.

– Куда собралась?

– Одну не отпущу, – строго сказала Феничка. – Ночь на дворе, а в Москву шушеры охочей слетелось, что воронья. Нет, нет, и не спорьте. Я за вас в ответе, стало быть, и дело решено.

Такому обороту Наденька очень обрадовалась. Она побаивалась и ночного путешествия по гулким от пустоты городским улицам, и предстоящих разговоров «по душам» с незнакомыми, совершенно чуждыми ей людьми, ради чего, собственно, все и затевалось. И это было главным, потому что внутренне она все время ощущала робость «первого слова», поскольку не могла представить, как оно должно прозвучать. Ну в самом деле, как? «Здравствуйте, как поживаете?» Или, может быть: «Откуда сами-то? Не из Смоленска?» Кроме Смоленска, Москвы да Петербурга, Наденька не знала ни одного русского города, разговоров с незнакомыми людьми не своего круга ей вести не доводилось, да и в своем, привычном кругу ей, по молодости, начинать беседы тоже не приходилось, и это пугало больше ночного похода. Поэтому она с огромным облегчением расцеловала Феничку и тут же привычно перешла к распоряжениям.

– Выходим сейчас же. Подарки раздавать начнут в десять утра, а мы до этого наговоримся и уйдем, пока толкотня не начнется. Возьмем лихача…

– Ну уж нет, – решительно заявила Феничка. – Гувернантка с горничной – да на лихаче? Да как же такое может быть, когда они, живодеры, знаете, как цены вздули?

– Вот. – Наденька вынула из кармана юбки с десяток червонцев и с торжеством потрясла ими. – Мне Варя дала на всякую мелочь для удовольствия, а лихач ночью и есть удовольствие.

– Дайте-ка сюда. – Феничка отобрала деньги, сказала с укоризной: – Ишь, какая транжирка нашлась. С ними торговаться надо, а торговаться вы не умеете, и потому платить буду я.

2

Было около одиннадцати, когда они незаметно выскользнули из вызывающе вычурного особняка Хомякова. Через заднюю калитку для прислуги вышли за кованую ограду и дворами пробрались на Никитский бульвар. Быстро темнело, небо не подсвечивало, потому что было новолуние, а расставленные на тротуарных тумбах по распоряжению начальства стеариновые плошки освещали только самих себя.

– Ветерок, – сказала Наденька, поеживаясь.

– Какая же я беспамятная! – Феничка всплеснула руками. – Хотела же теплый платок захватить. Может, сбегать за ним?

– А если Мустафа увидит?

– Увидит, – со вздохом согласилась Феничка. Возвращаться ей не хотелось точно так же, как Наде не хотелось оставаться одной. Шумели темные деревья бульвара, пляшущие под легким ветерком желтые язычки плошек отбрасывали пугающие тени, людей нигде не было видно, и девушки разговаривали приглушенными воровскими голосами. Весь их кураж остался в теплом, уютном, залитом электрическим светом доме.

– Может, вернемся, барышня? – робким шепотом предложила верная Феничка.

Вот как раз этого ей и не следовало говорить. Еще бы три, от силы пять минут перепуганного молчания, и Наденька сама убедила бы себя, что разумнее, а главное, логичнее всего возвратиться домой, попить с Феничкой чайку со свежим шоколадом из набора «Эйнем», поболтать ни о чем и ждать Варю с Романом Трифоновичем из Большого театра, где сейчас давали торжественное представление в честь коронации государя и государыни в присутствии высочайших особ. Все Олексины были склонны к действиям импульсивным, под влиянием внутреннего порыва, но порыв этот еще не созрел в душе, а потому и реакция Нади была прямо ему противоположна:

– Возвращайся. А я не меняю своих решений.

И гордо двинулась вперед, хотя очень хотелось – назад.

– Барышня, да с вами я! С вами!

– И больше никаких «барышень» чтоб я не слышала, – строго сказала Надя. – Изволь называть меня по имени, иначе мы провалим все наше предприятие.

Неизвестно, чем бы закончился этот приступ фамильной гордости. Может быть, темнота и пустынность, однообразный шелест молодой листвы на бульваре и внутреннее ощущение, что по нему все время кто-то куда-то беззвучно движется, в конце концов заставили бы Наденьку найти достойный предлог для возвращения (ну, нога подвернулась, в конце концов!), но вдруг послышался цокот копыт по мостовой, мягкий скрип рессор, и подле них остановилась извозчичья пролетка.

– И куда это, любопытно мне, барышни спешат?

Надя слегка растерялась, не имея привычки к уличному заигрыванию, но Феничка нашлась сразу:

– А на Ходынское поле. Уж очень желательно нам царский подарок получить.

– Это пехом-то? Аккурат к десяти и дойдете, ежели, конечно, сил хватит.

Голос был хоть и насмешливо-приветливым, но молодым, и Феничка поинтересовалась:

– А сам-то куда едешь?

– А во Всехсвятское.

– Ну так подвези по дороге.

– Ишь ты, какая ловкая. Подвоз денежек стоит. А денежки ноне – в большой цене.

– И не совестно тебе бедных девушек грабить?

– Эх!.. – Парень сдвинул картуз на нос, почесал затылок, вздохнул и вернул картуз в исходное положение. – И то верно, чего уж своих обижать, когда господ в Москве хватает. Садитесь, девки, пока я добрый!

Наденька опять задержалась, потому что обращение «девки» неприятно резануло слух. Но для ее горничной оно было привычным, даже дружелюбным, а потому она, шепнув своей барышне: «Лезьте, пока не передумал!..», первой взобралась на пружинное сиденье. И Надя сердито полезла следом за ней.

– Но, милая!

И коляска тронулась.

– Я чего добрый? – с каким-то торжествующе усталым удовольствием говорил парень. – Думаешь, натура у меня такая? Да на-кась, выкуси, мы в дурачках сызмальства не ходили. Я того, девки, добрый сегодня, что трое суток не спал ни с полкусочка. Хозяин Демьян Фаддеич мне еще загодя сказал: бар, мол, будет много, так что гоняй, Степка, пока кишка выдержит! Сотня в сутки – моя, а сколь лишнего зацепишь – твоей личности. Уговор дороже денег! Ну, велел я братку у крестного вторую лошаденку выпросить. Крестный у него добрый. Сына единственного Господь прибрал, так он в братке моем души не чает. Ну, и сглупу лошадь дал. А я, не будь дурачком, лошадок-то и менял трое дней да трое ночей. Когда господа гуляют, у них из карманов завсегда шалые деньги сыплются…

Парень говорил и говорил, не переставая. «Оказывается, их и не надо ни о чем расспрашивать! – вдруг с огромным облегчением поняла Надя. – Они, как дети, сами с упоением рассказывают о себе. Надо просто молча слушать и запоминать. Это же готовый репортаж!..»

– …один – важный такой, с медалью, что ли, на цепке золотой – полста мне отвалил! Ехать-то было – всего ничего, с Пречистенки на Большую Никитскую, но я сразу смекнул, что не москвич он, да еще с мамзелью, так что верещать не станет. Ну и покатал их по переулочкам. Он мамзель свою шоколадками кормит, она – хи-хи да ха-ха, – а я, почитай, на одном месте верчусь да верчусь. И – полусотенная в кармане. Нет, когда такой случай, что вся Москва дыбом, грех свое упускать. Три сотенные Демьяну Фаддеичу отдал, как уговорено, а остальное – мое. Мое, девки, мое! Полночи посплю, и снова на эту, как ее? На люминацию. Глядишь, и на лошаденку наскребу, а даст бог, так и на пролетку останется.

Лихач неожиданно примолк, вглядываясь. Сказал удивленно:

– Москва тронулась, глянь-ка, народ поспешает. За царскими подарками, видать.

Надя чуть приподнялась – сиденье было глубоким, давно просиженным – и увидела множество серых теней, спешащих в одну сторону. Мужчин и женщин, больше – молодых, которые шли группами, по-семейному, кое-кто и с детьми.

– Ох, опоздали мы, – вздохнула Феничка.

– Опоздали, говоришь? – весело откликнулся парень. – Да ни в коем разе!

Он шевельнул вожжами, причмокнул, и усталая лошадь послушно перешла на легкую рысь.

– Спасибо, – застенчиво сказала Надя.

– Со спасиба шубы не кроят, – добродушно заметил лихач. – Добрый я сегодня, да и девки вы свои. Услужающие, они ведь навроде меня. Тоже, поди, на одном месте вертитесь, чтоб деньгу зашибить, так что уж тут. Тут уж не считать, а, как бы сказать, наоборот. Друг дружке подсоблять надо, коли себе не в убыток.

– А если в убыток? – с забившимся вдруг сердцем спросила Наденька.

Степан рассмеялся:

– А ты востра, с подковырочкой! Мне такие нравятся, прямо скажу. Мне постное не по душе, а которое с горчичкой, то по нраву. Так что, ежели не против ты, конечно, завтра ввечеру на том же месте, на Никитском, значит, бульваре. Но, кормилица!.. Не для глупости какой говорю, не подумай. Я парень строгий, озорства не признаю и как есть холостой.

– Во, повезло! – чуть слышно хихикнула Феничка.

Они уже миновали Брестский вокзал и катили сейчас по Петербургскому шоссе. Народу здесь прибавилось, но шел он неторопливо и степенно.

– Семья наша крепкая, – продолжал Степан. – Отец еще в силе и – при мастерстве. Браток за крестным, считай, пристроенный. Сеструху хорошо выдали – повезло, почти что без приданого. Красотой взяла, женишок-то лет на пятнадцать постарше будет, вдовец с дочкой, но при своем деле. Красильня у него в Коптеве, а мастерство – в руках. Из Москвы с поклонами приезжают, такие, стало быть, секреты у него.

– Остановите здесь, пожалуйста, – вдруг сказала Наденька.

Слова вырвались сами собой, по привычке, и Степан повернулся на козлах к ним лицом.

– Чего?..

– Скажи кобыле «тпру», – весело пояснила Феничка. – И завтрева на Никитский не опаздывай, а то уйдем, не дождавшись.

– Вдвоем, что ли, придете? – с некоторой настороженностью спросил парень, придержав лошадь.

– Будет кого выбирать, – резонно заметила Феничка, спрыгивая на обочину. – Дай бог тебе полусотенных седоков, Степан.

– Ну, глядите, девки, уговор дороже денег. Счастливо погулять да подарки получить.

– Интересно он рассказывал, – сказала Наденька, когда пролетка отъехала.

– Хвастун!

– Думаешь, выдумал все?

– Может, так оно и было, только хвастался уж очень. А теперь-то куда?

– Вперед. Теперь – только вперед!

3

Девушки пересекли шоссе и подлезли под канаты, которыми было огорожено Ходынское поле со стороны Петровского парка. Слева виднелся освещенный Царский павильон и темные трибуны для гостей, а впереди – огромное пустынное пространство, на котором что-то чернело, но что именно, разглядеть было невозможно. Людей здесь почему-то не оказалось – мелькали лишь отдельные фигуры – небо было темным, новолунным, рассветные лучи еще не подсвечивали его, и девушки, подобрав юбки, шли осторожно, потому что поле оказалось уж очень неровным.

– Вы глядите, куда шагаете-то, – наставляла внимательная горничная.

– Гляжу, но ничегошеньки не вижу…

– Поют вроде? – удивилась Феничка.

Надя прислушалась. Где-то впереди – почему-то казалось, что из-под земли – негромко, но очень серьезно, будто молитву, и в самом деле пели: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня…», и слышались переборы гитары. «Молодые приказчики, – подумалось Наденьке. – И песня по их вкусу, и гитара – любимый инструмент». И сказала:

– Хорошо поют. С чувством.

– У нас народ – с пониманием, – с ноткой непонятной гордости отметила Феничка.

Она решительно обогнала свою спутницу, прошла немного и остановилась.

– Да вон где поют. Под обрывом, барышня.

– Никаких барышень, – еще раз строго сказала Надя, подойдя к обрыву.

Внизу, под обрывом, повсюду светились огоньки костров, в свете которых смутно виднелись людские фигуры. Возле самого яркого их было значительно больше, и именно оттуда доносилось слаженное пение.

– Люди, – с удивлением отметила Надя. – А почему – здесь? Прячутся, что ли?

– В затишке, – пояснила Феничка. – Ветерок-то прохладненький. И от солдат подальше.

– Каких солдат?

– А тех, которые подарки охраняют. Народ московский боек. Нам без солдат никак невозможно, озорничать начнем.

– Спустимся к ним, Феничка.

У Наденьки было радостное ощущение, что ей уже удалось заполучить материал для рассказа об извозчике Степане, трое суток не слезавшем с облучка, и очень хотелось послушать других людей с другими историями. «Вот Василий Иванович удивится! – весело думала она, осторожно, с помощью горничной спускаясь вниз, под обрыв. – И никаких вопросов задавать не придется, сами все расскажут. Утру нос великому корреспонденту!..»

– Здравствуйте, – сказала она, приблизившись к костру.

Ей никто не ответил, потому что звучали завершающие аккорды незамысловатого мещанского романса. Но как только песня закончилась и исполнители удовлетворенно вздохнули, к девушкам обернулся гитарист, сидевший на перевернутой вверх дном ивовой корзине. В отсветах пламени мелькнули фатовские усики и лихо сбитая набекрень суконная фуражка, украшенная аляповатой бумажной розочкой.

– С доброй ночью вас, девушки любезные. – Он сверкнул белоснежной улыбкой. – И вы, стало быть, за царскими кружками? Так милости просим к нашему огоньку.

– Поиграй еще, Ванюша Петрович, – донесся женский голос из темноты. – Задушевное да сердечное.

– С нашим полным удовольствием, – отозвался гитарист, тут же выдав ловкий гитарный перебор: ему, видимо, нравилось быть в центре внимания. – Ну-с…

Снова переборы струн, два-три аккорда…

Она придет, неслышно и незримо,
И встанет мрачно у одра,
И скажет мне с тоской неумолимой:
«Пора! Пора. Пора…»
Она дохнет в лицо прохладной ночи,
Холодною рукой мою придавит грудь,
Закроет навсегда тускнеющие очи,
И в путь! И в путь…
И буду я молить таинственную гостью:
Я жить хочу, оставь мне этот свет,
И буду я молить с слезою и со злостью…
Но нет! Но нет. Но нет…
И в жизни той, когда меня пробудят,
Где может быть неведома печаль,
Но дней земных, печальных жаль мне будет…
Да, жаль! Да, жаль. Так жаль…

Голос у Ванюши Петровича был небольшим, но слух отменным. Он не выкрикивал слов, не фальшивил, умело держал паузу и знал, что его слушают благодарно. Аплодисментов тут не признавали, да они были и не нужны: слушатели словно вбирали в себя и наивные слова, и простенький мотивчик, дышали одним дыханием с певцом, и казалось, что все сердца их бьются сейчас в едином ритме. «Как же непосредственно они умеют слушать! – поразилась Надя. – И как благодарно, с каким искренним чувством…» И это ее радовало и трогало, и она твердо решила описать и эту сценку, чтобы показать самодовольным циникам, как простой

московский люд умеет ценить и любить собственное искусство или то, что он разумеет под этим мудреным словом.

Но здесь внимали певцу, а потому и не вели задушевных бесед, которые ей так хотелось послушать. Вероятно, эти беседы звучали у других костров, поскольку, по ее мнению, простой народ не способен был предаваться молчаливым размышлениям вообще. Два очерка – об извозчике и о способности московского люда в строгом уважении внимать песне – у нее уже были, но хотелось еще. О жизни этих простых людей, об их мечтах, любви, отношениях к семье, к жене, к детям.

– Пойдем, – шепнула она, когда приказчик, закончив душещипательный романс и выслушав одобрительные возгласы, снова начал подстраивать гитару.

– Куда? – с неудовольствием спросила Феничка. – Здесь славно. И песни хорошие. Душевно поют и душевно слушают.

– Посмотрим, что наверху, – сказала Надя, поняв, что уговорить Феничку перейти к другим кострам, где не пели, а беседовали, было бы сложно. – Видишь, сколько тут народу? На рассвете все наверх полезут, и нам подарков не достанется.

Этот аргумент подействовал, и когда приказчик с бумажной розой начал новую песню, а окружавшие его уже настроились слушать, девушки тихо выскользнули из освещенного костром круга.

– Не чуете вы песен, барышня, – с укоризной вздохнула Феничка. – Нет, не чуете.

– Давай к другому костру подойдем, – деловито сказала Надя. – Может, послушаем что-нибудь любопытное.

Феничка недовольно фыркнула, но спорить не стала. Народу в овраге скопилось много, но располагался он кучками, между которыми еще можно было пройти.

Здесь мало разговаривали, а больше дремали, уронив головы на колени, или просто спали на голой земле. Тихий говор и негромкий храп разносился по всему оврагу, и девушки шли осторожно, чтобы не наступить ненароком на спящих.

– Охальник ты, – вдруг ясно сказал женский голос. – Как есть, охальник!..

Размытая темнотой юркая девичья фигурка шмыгнула мимо. И почти тотчас же перед Надей и Феничкой вырос некто куда более рослый.

– Нюш?.. – задыхающимся шепотом окликнул он. – Нюш, слышь, не обижайся…

Тут плохо различимый парень наткнулся на девушек и замолчал. Надя сразу же остановилась, испуганно прижав руки к груди, а Феничка воинственно шагнула вперед.

– Нюшу свою потерял, молодец? Так там и ищи, куда побежала.

И махнула рукой совсем уж в противоположную сторону.

– Эх! – отчаянно выдохнул парень и сразу же исчез в темноте.

– Какое бесстыдство!.. – презрительно сказала Наденька.

– А где же им еще помиловаться? – резонно заметила Феничка. – Тут самое и есть.

Надя ничего не ответила. Может быть, потому, что внутренне признала Феничкину правоту.

– Я еще на том празднике был, когда на прежнего государя корону надевали, – сказал кто-то от малого костерка. – Тоже гулянье с подарками устроено было, да не всем в радость. Тридцать две души пред Господом за нас, грешных, предстали, в тесноте задохнувшись насмерть. И пряник тот сладкий многим соленым показался.

– А я так тебе скажу, что неверно ты судишь, будто сладко – от дьявола, а солоно да горько – от Христа, – неторопливо и уверенно возразил худощавый, средних лет мужчина в дешевенькой шляпе. – Скажешь, мол, что по Писанию говорю, что, мол, через страдания душа в рай пробивается, а я тебе так отвечу, что Писание нас о том предупреждает. Предупреждает только, потому как, заметь, примеры у него старые. А жизнь – она движется. У дедов – одна,

у внуков – другая, почему Господь примеры эти и подновляет. Все – от Господа, и сладкое и соленое, так уж он жизнь для человеков устроил.

У костерка сидели несколько немолодых мужчин и две женщины. Над огнем висел закопченный жестяной чайник, а у каждого имелась кружка, кусок ситного, бублик или сайка. Здесь пили чай по-московски, неторопливо и со вкусом, осушив, вероятно, уже не один чайник. Пили и степенно говорили о душе и страдании как о спасении этой души. В рассуждениях не было никакой логики, Наде эта беседа показалась малоинтересной, она хотела было незаметно отойти, но тут заговорил второй бородач в новом картузе, на твердом козырьке которого играли глянцевые отблески огня.

– Утешения мы себе ищем. Утешения и оправдания, а не правды. А оправдание без правды есть ложь. И ложь эту от дедов к сынам, от сынов к внукам сами же и перекатываем, будто жернов какой, чтоб только мир не менялся. На лжи мир стоит, а не на правде. Стоит и будет стоять, потому и правда никому не нужна.

– А правда, она в чем? – спросил кто-то невидимый.

– А правда в том, что года проходят обидно. Молод я был, так думал, отделюсь вот от батюшки и по-своему, по-другому, значит, жить стану. Жена – чтоб по любви, а не по выгоде, дети – чтоб грамоте не по Псалтирю учились, дом – чтоб не одними лампадами светился. А вошел в возраст – и сызнова на том самом кругу. И женился вроде по любви, и парни – двое их у меня – в городском училище грамоту проходили, а правды все одно нет. К мастерству я их определил, да что толку-то? Младшего сапожник шпандырем охаживает, старшего – каретник спицей. Младший плачет: «Уйду я, тятенька, сил моих нет!» А я говорю: «Терпи, пока мастером не стал». Старший в ногах валяется: не хочу, мол, за себя кривую дочку каретника брать! А я ему: «Соглашайся, дурак, он тебе мастерскую свою отдаст!» А ты говоришь, соленое, мол, от Христа. Не-ет, от Христа уважение идти должно, он за то наше уважение муки претерпел немыслимые. А слезьми солеными мы сами мир заливаем да горем засеиваем.

– Почему человек жив? – вдруг спросил кто-то из темноты да сам же и ответил: – А по привычке и жив, потому что смысла никакого нет. Родился с криком, вырос в побоях, женился с дракой и состарится со злостью. Привычка натурой стала, а мы все на Господа киваем. Мол, не того он хотел, что на Руси получилось.

– Он казнь лютую еще тогда принял, когда и Руси-то никакой не было.

– Значит, о нас он и думать не мог. Думать наперед никому не дадено.

– Не богохульствуй. Не люблю этого.

– Упаси Господи, не богохульствую я. Я так мыслю, потому что не учен. Бога тот хулит, кто науки превзошел, потому как знает, чего не по Писанию. Знает и народ нарочно смущает. Давить таких надо.

– А Христос учил всех прощать.

– Это не про нас сказано. Народ у нас воровской да бездельный. За рюмку сестру родную продаст.

– Но-но, ты не очень-то!

– А ты зачем здесь ночуешь, ровно бродяга какой? А затем, что пива да водки дармовой тебе обещали, вот зачем. Ну, и где правда-то твоя, где?

– Я за государевой кружкой…

– Ан и обратно врешь. За государевой кружкой ты бы бабу свою послал.

– Нет, не вру! – заорал вдруг владелец нового картуза. – Я за государя императора, Богом России данного…

– Уйдем, барышня, – тревожно шепнула Феничка. – Сейчас разругаются, хоть уши затыкай…

Они юркнули в темноту, впопыхах наступили на чью-то руку, услышали в ответ сонную матерную брань и, оступаясь, поспешно полезли на обрыв.

– Ну и слава богу, – задыхаясь, сказала Феничка, когда они выбрались на ровное место. – И темно там, и страшно, и выражаться вот-вот начнут. Пойдемте лучше к солдатам. Может, господ офицеров найдем, с ними спокойнее.

С задней, выходящей к обрыву стороны буфетов людей поначалу нигде видно не было, но они появились, как только девушки приблизились к дощатым, наскоро сколоченным постройкам. Темные их фигуры молчаливо жались к тылам буфетов, тесно набившись в узкие проходы между ними.

– Не клейся тут, не клейся, – зло зашипел женский голос. – Из-за вас, проныр, и нас разгонят.

– Вы напрасно беспокоитесь, – сказала Надя. – Мы так, посмотреть только.

– На нищету нашу поглядеть пришла?

– Что вы, мы уходим, уходим, – поспешно заверила Наденька. – Уже уходим, не волнуйтесь.

Девушки отошли подальше от злобной темной очереди. И остановились, не зная, что предпринять.

– Ну и дальше куда? – недовольно спросила Феничка.

– Светает, – тихо сказала Надя. – А на небе – ни облачка. Славный будет денек!

– Глянь-ка, барышня, вроде дымок над обрывом? Горят они там, в овраге, что ли?

Наденька оглянулась. Над обрывом, ведущим в глубокий овраг, из которого они недавно вылезли, легкой пеленой висел пар от дыхания десятков тысяч людей. Дрожал, будто живой, и освещенное первыми лучами еще не вылезшего из-за горизонта солнца небо причудливо переливалось в нем.

– Как красиво! Нет, ты только посмотри…

– Недосуг смотреть, – сурово оборвала Феничка. – Уходить отсюдова надо.

Наденька тоже ощущала какое-то внутреннее беспокойство, но хорохорилась. Даже начала что-то говорить, что, мол, неплохо было бы взять царскую кружку для Вани Каляева, но тут же замолчала, испуганно вслушиваясь.

Из оврага вместе с паром поднимался странный гул, пугающий, как стихия. И нарастающий, как стихия. И со стороны Петербургского шоссе, и со стороны Москвы тоже слышался тот же гул. Еще далекий, но уже несущий в себе что-то грозное.

– Бежим! – крикнула она, ощутив вдруг возникшую в ней неосознанную панику. – Бежим отсюда, Феничка!..

Высоко подобрав юбки, девушки, спотыкаясь, добежали до последних буфетов и…

И замерли.

4

Перед ними стояла толпа. Стояла молча, странно раскачиваясь, и из глубины ее то и дело раздавались стоны и крики. По головам тесно – плечом к плечу, руками не шевельнешь – зажатых, сдавленных людей порою уже лезли мальчишки, а то и вполне взрослые парни, упираясь сапогами во что придется. В беззащитные лица, затылки, спины, плечи. А толпа стонала и раскачивалась, раскачивалась и стонала, не двигаясь с места.

– Назад! – крикнула Феничка. – Назад, барышня! В овраге спрячемся, беда будет, беда…

Они повернули назад, но пробежали немного, потому что из оврага выросла вдруг задыхающаяся, распаренная крутым подъемом живая человеческая волна. Девушки сразу остановились, но увернуться от людского потока им уже не удалось. Овражная масса подхватила их, втянула, всосала в себя и помчала туда, куда рвалась сама. Их закружило, оторвало друг от друга…

– Барышня-а!.. – отчаянно, изо всех сил закричала Феничка, но Надя уже не видела ее.

Потом говорили, что как раз в этот момент раздались револьверные выстрелы. Полицейский офицер, заметив обе толпы – стоявшую и бегущую от оврага, – выпалил для острастки несколько раз в воздух, заорав во всю мочь:

– Выдавай подарки! Выдавай! Сомнут!..

Этот выкрик послужил командой не столько буфетчикам, сколько тесно спрессованной, стонущей, топчущейся на месте толпе. Она ринулась вперед, разбрасывая полицейскую шеренгу. И полицейские со всех ног бросились врассыпную, спасая собственные жизни. Буфетчики начали разбрасывать узелки с подарками прямо в наседающую массу, раздались дикие крики, затрещали доски самих буфетов.

А солдат, от которых прятались в овраге и под защиту которых так хотела пробраться Феничка, вообще не было. Они еще не успели подойти к началу официальной раздачи, потому что было только шесть часов утра…

Надю разворачивало и вертело в стремнине еще не утрамбованной толпы. Внутри нее пока еще сохранялась крохотная свобода, позволявшая шевелить руками и даже чуть сдвигаться из одного ревущего ряда в другой, но уже не дававшая никакой возможности вырваться наружу. Пока все – красные, с распаренными лицами – еще дышали полной грудью, жадно хватая воздух широко разинутыми ртами. И при этой относительной свободе овражная толпа, захватившая Надю и набравшая изрядную инерцию движения, врезалась в толпу, появившуюся из Петровского парка. Долго топтавшуюся на месте, долго терпевшую немыслимую тесноту и только-только начавшую двигаться после полицейской команды начать раздачу царских подарков. Удар свежей волны вызвал давку и суматоху, Надю опять куда-то развернуло, прижало к чему-то странно податливому, почти мягкому…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.